



Владимир Орлов

Аптекарь

ФТМ



Останкинские истории

Владимир Орлов

Аптекарь

«ФТМ»

1983-1986

Орлов В. В.

Аптекарь / В. В. Орлов — «ФТМ», 1983-1986 — (Останкинские истории)

ISBN 978-5-4467-2593-9

«Аптекарь». Одна из вершин в творчестве классика современной литературы Владимира Орлова. Это роман, где неразрывно переплелись мистика и реальность. Где вымысел порой достовернее самой жизни. История о любви, о тайнах природы, о месте человека в нашем изменчивом непредсказуемом мире.

ISBN 978-5-4467-2593-9

© Орлов В. В., 1983-1986

© ФТМ, 1983-1986

Содержание

1	5
2	9
3	16
4	22
5	29
6	31
7	34
8	37
Конец ознакомительного фрагмента.	40

Владимир Орлов

Аптекарь

1

Их развели.

– Платить-то будешь? – спросила Мадам.

– У матросов нет вопросов, – ответил Михаил Никифорович.

Это было лет пять назад, до нашего знакомства с Михаилом Никифоровичем. Заявление написал он. Теперь он темнит, уверяя, что текст заявления не помнит. Мол, что-то там такое было, что вот, мол, от меня ждут аристократических детей, а я, мол, рабоче-крестьянского происхождения и потому, чтобы дальнейших огорчений не было, прошу развести. Мол, там посмеялись, но недолго, и развели.

В пивном автомате на улице Королева Михаила Никифоровича называли и Михаилом Никифоровичем, и Мишей, и Мишкой, и Аптекарем, и Лысым, и Дипломатом, все вспоминать скучно. Знакомых у него множество, у каждого из них свои обстоятельства жизни и свои основания называть его так или иначе. Да и знакомства возникали тут порой мимолетные, приметы же приходили на память самые случайные. Кто-то запомнил Михаила Никифоровича именно лысым (а Михаил Никифорович раз в год брился наголо), кто-то запомнил его рассказ о том, как он, окончив в своей курской деревне десятилетку, приехал поступать в МГИМО, все сдал, возможно, был бы теперь дипломатом, но на последнем экзамене, немецком, срезался...

Впрочем, представить его дипломатом трудно. То есть, конечно, жизнь то и дело, как и каждого из нас, заставляла Михаила Никифоровича проявлять себя и дипломатом, или, скорее, умиротворителем, но эта его бытовая дипломатия вряд ли бы принесла удачу в международных отношениях. И Михаил Никифорович несколько не жалеет, что не был принят в МГИМО.

Михаилу Никифоровичу Стрельцову под сорок. Рост у него сто семьдесят пять сантиметров, весит он семьдесят девять килограммов. В юности, когда он попал в матросы и узнал прелести флотской кухни, он быстро набрал девяносто два килограмма, клещи на нем были как колокола. Теперь он не толст, живота не имеет, носит подтяжки и производит впечатление крепкого, здорового человека.

Я видел многих родственников Михаила Никифоровича, двоюродных братьев и племянников его. Все они блондины, носы у них острые, тонкие. Михаил же Никифорович черен, таких в роду нет, бриться ему полагалось бы дважды в день, щетина прет, да и тело его, что называется, в шерсти. Нос у Михаила Никифоровича с горбинкой и чуть расплюснутый внизу. Выговор у него южнорусский, курский. Но это когда он забывает, что давно москвич. Тогда и меняет «в» на «у». «Пошел у магазин» и так далее. Знает он и украинску мову, жил в Мариуполе, Запорожье, Харькове. Где только не жил...

Все эти сведения о внешности Михаила Никифоровича и некоторых его особенностях я сообщаю на тот случай, если вдруг кто-то из предполагаемых моих читателей забредет в Останкино, увидит Михаила Никифоровича и сообразит: «Вот он, тот самый...» Но вполне вероятно, что он примет за Михаила Никифоровича и кого-нибудь другого. Виноват тут будет автор. Он воспитан на пренебрежительном отношении к описаниям внешности персонажей, полагая вместе с другими, что в двадцатом веке в этом нет нужды. Что словесные портреты должны занимать более милицию, нежели литературу. Есть фотографии. А ты сколько ни пыжься, все равно опишешь человека так, что всякий увидит его по-своему. Да и стушевался бы автор, принявшись за добросовестное описание внешности Михаила Никифоровича, нет у него в

этом умения, свойственного, скажем, людям девятнадцатого века. Но дать кое-какие приметы Михаила Никифоровича я все же не удержался...

А читатель, кого судьба или любопытство заведут в Останкино, может и не утруждать себя, вспоминая мои слова и разгадывая, кто же тут Михаил Никифорович. Если есть нужда, надо просто спросить, и многие Михаила Никифоровича покажут. Возможно, Михаил Никифорович будет в компании знакомых. О некоторых из них речь пойдет позже.

В день же, с какого начались события моего повествования,¹ Михаил Никифорович стоял в пивном автомате рядом с дядей Валей. И со мной тоже.

Дяде Вале было под шестьдесят, он работал шофером, собирался на пенсию. В довоенном фильме шпик в котелке кричал полицейским, хватавшим революционера: «За яблочко его! За яблочко!» По общему мнению, дядя Валя был похож на того кричавшего, и иногда некоторые интересовались: «Ну как, дядя Валя? За яблочко его или как?» Дядя Валя посмеивался и говорил: «Но беда-то ведь небольшая, а?» Месяца два он не появлялся в пивном автомате, потом пришел с палочкой. Михаил Никифорович увидел его сегодня впервые после отсутствия, покачал головой.

– Что это с вами, дядя Валя?

– Осколки удалили, – сказал дядя Валя. – С финской еще...

Вчера дядя Валя рассказывал мне, что ногу он сломал, вышел как-то поутру прогуливать собаку, поскользнулся на ровном месте – и, нате вам, в гипс на два месяца.

– Сколько лет сидели, – продолжил дядя Валя, – и ничего, а тут как занесли, на ногу ступить нельзя. «Надо удалять», – говорят. Девять удалили, двенадцать осталось там.

– Надо же, – покачал головой Михаил Никифорович.

– Но беда-то ведь небольшая, а? – заключил дядя Валя.

Новый поворот истории дяди Валиной ноги меня не удивил. Но и сдержаться я не мог:

– Дядя Валя, а вы мне говорили, что сломали...

Дядя Валя поглядел на меня укоризненно. Сказал:

– Правильно. Они и думали сперва, когда меня из «Звездного» вынесли в машину, что сломал...

– Из ресторана, что ли?

– Из ресторана. Из буфета.

– А как же собака? – опять влез я.

– Собака? – удивился дядя Валя. Потом сообразил: – Собака... Ага, я гулял с собакой возле ветеринарной больницы, там и упал...

– А как же ресторан?

– Но беда-то ведь небольшая? – И дядя Валя продолжил, забыв о моих вопросах: – Осколки хотели сначала магнитом вытянуть, может, из кого и вытянули бы, а из меня нет, или магнит испортился. Они и резали. Но все не вырезали. А то бы сухожилия и связки попортили. Вот двенадцать и осталось. С испанской войны...

– Вы говорили, с финской?

– И с финской. С испанской и финской. В Испании пришлось, сам знаешь. Я все хочу в Мадрид съездить. Мне ведь испанское правительство пенсию платит.

– За что же?

– Ты еще не родился, а я бил франкистов!

– Это я понимаю. Но за что же правительству-то вам пенсию платить? Чтб им, что вы франкистов-то били?

¹ Сразу же должен сообщить, что события эти происходили, а может быть, и не происходили в Останкине в начале восьмидесятых годов. (Примеч. здесь и дальше автора.)

– Я знаю. – Дядя Валя стал серьезным, замолчал, видимо что-то обдумывая. – Я газеты читаю. Ты меня не так понял. Я сказал, не правительство. Не правительство, а партия...

Он словно бы тяжкий подъем преодолел, слова сразу же стали выкатываться из него легко.

– А ты говоришь – правительство. Стало бы мне их правительство! А партия платит. Поздравления присылают. Меня там помнят все. И Долорес и другие. Меня их нынешний секретарь хорошо знает. Приходи, я тебе телеграмму от него покажу.

– Это от кого же?

– Ну как его...

– Карилья, что ли?

– Карилья, как ты догадался! Он у меня под Гвадалахарой был на пулемете. Совсем молодой парнишка. Огонь, треск, я ему кричу: «Мишка, тащи быстрее патроны, мать твою!»

– Почему же Мишка? – заинтересовался долго молчавший Михаил Никифорович.

– А мы их по-нашему звали, – сказал дядя Валя. – Мишка да Мишка. Это как же по-ихнему будет, постой...

– Мигель...

– Вот. Мигель Карилья.

– Так это, значит, другой Карилья. Тот, который секретарь, тот Сантьяго Карилья.

– Точно! – вскричал дядя Валя. – Я его Санькой звал, а не Мишкой. «Санька, мать твою!»

– Так его надо было скорее Яшкой звать, – вставил Михаил Никифорович.

– На Яшку он не откликался, – сказал дядя Валя.

Помолчали. Михаил Никифорович с дядей Валей закурили. Стояли мы под табличкой «Не курить». Автомат на Королева считался магазином. А магазины не предполагают курения. Тут существовали и иные запреты: «Приносить и распивать...» И так далее. Но коли не приносить и не распивать, откуда же возникнут на полу или прямо в руках уборщиц пустые бутылки, те, что потом мешками – и не раз в день – волокут в магазин на сдачу? Понятно, что про распитие никаких слов и не произносилось. Желающих же платить за окурки и выпотрошенные сигаретные пачки не было, оттого в автомате то и дело звучали пронзительные восклицания: «Прекратите курить!» Но сейчас Михаил Никифорович и дядя Валя курили спокойно.

– Мне Батов вчера звонил, – сказал дядя Валя.

– Генерал, что ли?

– Ну да. Генерал. Вот он как раз со мной и был в Испании... – Тут дядя Валя осекся и настороженно поглядел на меня.

– Да нет, дядя Валя, я ничего, – сказал я.

– Что-то вы все об одном да об одном, – заметил Михаил Никифорович.

– А что, есть конструктивное предложение? – оживился дядя Валя и достал рубль.

– Нет, дядя Валя, – быстро сказал Михаил Никифорович.

Он втянул носом воздух, мышца над правой ноздрей его стала знакомо дергаться, можно было понять, что рубля, тем более с сорока копейками, у Михаила Никифоровича нет. И у меня не было.

– Но беда-то ведь небольшая, а? – сказал дядя Валя и спрятал рубль.

Мышца все еще дергалась над ноздрей Михаила Никифоровича.

– А соленые помидоры хорошие продаются в овощном, – неуверенно сказал Михаил Никифорович.

– Ну и что?

– Ничего. Это я так, к слову...

– К слову нужна музыка, – вступил дядя Валя. – Вот однажды Аркаша Островский...

Дядя Валя остановился. Я пошел за пивом, а когда вернулся, дядя Валя говорил об Островском, Лепине, Френкеле, еще о ком-то. Испанскую тему сменила музыкальная. Скоро сле-

довало ожидать перехода к кинематографу. Причем если имена вспоминались дядей Вале́й обычно одни и те же, то истории, связанные с этими именами, возникали, как правило, свежие. Много бы музыки не звучало теперь, если бы не дядя Валя. Возможно, что и рапсодии Будаши́кина для домры с оркестром не было бы. А уж про кино и говорить не приходилось. Десятки фильмов со звуком и без звука, особенно на студии «Межрабпомфильм», вышли при помощи дяди Вали. Как я и ожидал, дядя Валя свернул на Эйзенштейна.

– ...Сережа-то Эйзенштейн, – сказал дядя Валя, – тогда еще не лысый, как раз в тот день приехал ко мне советоваться. Валентин, говорит...

Долгое время дядя Валя считал, что Сережка Эйзенштейн живой и что он, правда, не часто, раз в год, но все же заходит к нему, дяде Вале, домой, на Кондратюка, 14. Однажды я, возбужденный, что ли, был, не выдержал и предположил вслух, что это, наверное, не тот Сережка Эйзенштейн, который поставил «Броненосец „Потемкин“». Дядя Валя резко и с обидой возразил, что это именно тот Эйзенштейн и что он хороший и простой мужик. Я хотел было сгоряча притащить из дома в автомат том энциклопедии, но поберег книгу, а дяде Вале посоветовал обратить внимание на мемориальную доску, что висит на одном из домов у Чистых прудов. Видимо, дядя Валя доску эту, проезжая мимо на своем автобусе, рассмотрел, и Эйзенштейн перестал приходить к нему в гости. Однако в предвоенном и военном прошлом он, Эйзенштейн, многое в своих фильмах все еще решал лишь после советов с дядей Вале́й. Возможно, дядя Валя и работал в киностудиях водителем, возможно, после войны он был шофером кого-то из композиторов. Возможно. Во всяком случае, порой сведения об истории кинематографа и отечественной эстрадной песни дядя Валя сообщал достоверные. Но еще больше он рассказывал о вещах, широкой публике неизвестных. Внимать ему в этих случаях было тем более интересно. Например, я с удовольствием слушал варианты рассказа дяди Вали о том, как его вызвал к себе в июле сорок пятого маршал Жуков, обнял, прослезился, расцеловал за победу и подарил олдсмобиль. Что сделал дядя Валя с олдсмобилем, как-то упускалось. Но не в этом была суть. Мне всякий раз были интересны скачки дяди Валиной бескорыстной памяти. Или воображения, опять же бескорыстного. Иные фантазеры или мемуаристы упрямы, кулаки сожмут, зубами заскрипят, а будут стоять на своем. Дядя же Валя, пойманный на исторической неточности (правда, авторитетным для него человеком, а не каким-нибудь шалопаем), не скандалил, не скулил, не скисал, а будто вспыхивал. „Точно! – говорил он, и радость горела в его глазах. – Как это ты догадался! И как я забыл! Точно, все было не так! Но беда-то ведь небольшая!“ И сразу же следовал новый поворот только что рассказанной истории, да такой крутой и бесстрашный, что на душе становилось знобко и празднично. И опять дядя Валя сокрушал врагов или делал искусство в компании с известными всем людьми. И главное, что на финской и на испанской (на Отечественной-то естественно) он был. Впрочем, я скажу: наверное, был, – потому как точно не знаю. Дядя Валя не раз звал меня к себе домой посмотреть всякие документы и фотографии. А я не ходил. Боялся. Вдруг и нет никаких документов. С дяди Вали стало бы. Пришли бы, а он сказал бы: „Где же они? Украли, что ли? Ванька Карась давно грозился украсть! Или жена, когда уходила к таксисту, сожгла...“ Предполагаю, что он даже нюхать начал бы, не пахнет ли горелой бумагой. И я точно почуял бы, что пахнет. Вот я и не ходил... А с другой стороны, если бы я увидел свидетельства реальной жизни шофера Валентина Федоровича Зотова, мне труднее (или скучнее) было бы воспринимать его дальнейшие рассказы. Цеплялось бы мое воображение за эти свидетельства...

Тем временем дядя Валя опять достал рубль и повертел им. Мышца над правой ноздрей Михаила Никифоровича снова задергалась. А я развел руками. Меня ждали дела, и рубля не было. С тем я и покинул собеседников...

2

Однажды я зашел в автомат в воскресенье. Я был с сумками. В одной уже стояли пакеты картофеля. Другая была пуста, ждала молока, сыра и мясных полуфабрикатов. Я пожал руки человекам тридцати. Останкинские мужья в воскресные дни сходились в автомате непременно с отчаянными сумками, а то и с рюкзаками. Некоторых только с этими сумками и выпускали из дома, другие же брали сумки добровольно, желая заработать привилегии в суровом и прекрасном семейном сосуществовании. Личности в тот день пили пиво самые разные, кто с высшим образованием, а кто и со средним. Среди прочих стояли дядя Валя и Михаил Никифорович.

– На рынке был? – спросил меня Собко, в будние дни занятый изучением тайской культуры.

– Видишь: пакеты, – показал я на сумку. – А на рынке картошка тоже небось химическая.

– Ну нет, – возразил Собко. – Я всегда беру у одного хозяина из-под Ярославля. У того на навозе.

Я это знал. А Собко будто бы жене давал положительную информацию. Был он краснощек и бодр и, как выяснилось, через два часа собирался в баню. Картошкой на навозе в глазах жены его поход в баню был уже оправдан. Оттого Собко пил пиво с удовольствием. У иных же, нынче менее краснощеких и с лицами как бы набрякшими, настроение было не столь благостное. Им и пиво пока не помогало. Вчерашние напитки и лакомства еще угнетали. Кое у кого и кружки в руках дергались нервно. Создавалось впечатление, что эти страдалцы вряд ли вчера смогли бы воспользоваться услугами подземного транспорта. Впрочем, некоторые из них были степенные и с хорошей координацией движений, таких всегда впускают в метро.

– Ну как? – спросил меня Собко. – Киев в этом году или Тбилиси?

– Очень может быть, что и московское «Динамо».

Начался март, самая пора думать о сюжете футбольного сезона.

– Нет, Киев, – твердо сказал Собко.

В автомате темы в разговорах быстро меняются. Мы побеседовали о футболе, о хоккее и тут же перешли к международной политической ситуации. Возник спор о составе китайской дивизии. Толя Серов, лектор и социолог, вспомнил Бжезинского, он читал все его книги и теперь бранил безнравственные построения вашингтонского ястреба. Кошелев сказал, что Бжезинский не стоит и упоминания в нашем пивном автомате, а пора обсудить польскую книгу «Мужчина после сорока». Тут сразу зазвучали анекдоты, имеющие отношение к сути книги. Все отдыхали от воскресных семейных разговоров. Тем более что многим еще предстояло пылесосить и полотерить.

– А ты слушал «Скупого» Пашкевича в Камерном театре? – спросил меня таксист Тарабанько.

Я хотел было сказать, что слушал, но тут дядя Валя сделал шаг вперед, как бы имея в виду меня, но, впрочем, наверное, и других. И достал рубль. Михаил Никифорович тоже сыскал рубль.

– Водку или вино? – спросил Тарабанько.

– Водку! – решительно сказал дядя Валя.

На этот раз деньги у меня были, однако мой желудок дурно переносит смесь пива с вином или водкой, да и размечтался я после слов Собко о бане. Я отказался участвовать в предприятии.

Если бы я знал, от чего отказываюсь!

Почему-то все замялись. Вроде бы и хотели, но руки за рублями не лезли. Наконец Игорь Борисович Каштанов, причудливые изгибы судьбы которого были известны всему Останкину, решился. Был он как раз одним из тех, у кого кружка в руке мелко дергалась. Да и авоська

его с буханкой черного и банкой рыбацкой ухи то и дело вздрагивала. Говорил он вяло и как-то обреченно. Всех выпрашивал, не видели ли его вчера после десяти часов вечера. Все, что происходило с ним до десяти, он помнил, что потом – нет. Теперь Игорь Борисович стал третьим. И его можно было понять.

Компания образовалась. Следовало собрать сумму. Водку сегодня можно было купить лишь с черного хода, сумма требовалась усиленная. Михаил Никифорович подумал и выложил еще рубль. Прошу на это обратить внимание! Дядя Валя и Игорь Борисович наскребли по несколько гривенников каждый. Михаил Никифорович вынул еще сорок копеек.² Но суммы все не было.

– Дай, сколько у тебя есть, – сказал мне дядя Валя.

Я сунул руку в карман, мелочи было всего четыре копейки. Дядя Валя взял четыре копейки, а у Серова шесть и предположил:

– Хватит, наверное.

Михаил Никифорович заметил, что в овощном магазине опять хорошие соленые помидоры. Компаньонам дали мелочь на помидоры.

– Кто сегодня торгует? – спросил дядя Валя.

– Зинка и Анька, – сообщили ему.

– Это не мои! – рассердился дядя Валя. – Ну, кто будет гонцом? Кто Зинкин клиент?

Все посмотрели на усатого красавца Моховского, финансиста, прозванного паном Юреком, к нему Зинка относилась как к другу.

– Нет, – помотал головой Моховский. – Я нынче мягко стою.

Действительно, стоял он кое-как, прислонившись к стене. И выражение глаз было у него романтическое. Порой он ласково что-то снимал с плеч и с груди. Наверное, это были невидимые, но известные всем по описаниям Моховского бегемотики.

– Я теперь как облако в штанах, – сказал Моховский. – Дядя Валя, ты читал «Облако в штанах»?

– Нет, не читал.

– А зря. Один тоже не читал, а через два дня дал дуба.

– Ладно, – проворчал дядя Валя. – Ты что, красного, что ли, уже набрался?

Тут в поле зрения дяди Вали попал тихий человек Филимон Грачев. Он работал токарем на «Калибре», было ему лет тридцать, надо полагать, немало шуток выслушал он по поводу своего имени. Низенький и шуплый на вид, руки он всем жал так, будто ему подавали эспандеры. Впрочем, руки протягивали ему лишь люди свежие и наивные, незнакомые с увлечением Филимона гиревым спортом. В автомате Филимон был и первым кроссвордистом. Я сам носил ему кроссворды из «Книжного обозрения». На него-то и поглядел дядя Валя.

– Ну давайте, – сказал Филимон.

Гонцы имели право на пятнадцать капель с бутылки. Стало быть, на пятьдесят граммов. Прошу и на это обратить внимание. Филимон взял деньги. Между тем обнаружили еще пайщики, взбудораженные предприятием дяди Вали, всего Филимону вручили деньги на четыре бутылки водки и на две портвейна «Кавказ». Филимон ушел в шестидесятый магазин. Михаил же Никифорович отправился за милыми ему солеными помидорами.

И вот влажные помидоры с трогательными вмятинами были разложены на газете, чистый граненый стакан покоился в кармане дяди Вали, Игорь Борисович Каштанов движением губ, на звуки у него не хватило сил, попросил меня поддержать авоську с продуктами, явился и гонец, раздал жаждущим бутылки, завернутые в белую бумагу. Какое их ждало удовольствие! Но тут взяли и вошли три милиционера.

² Прошу обратить внимание и на то, что сумма собиралась, характерная для воскресного дня именно начала восьмидесятых годов.

Один был свой, участковый, старший лейтенант Куликов, два других – старшина и сержант – чужие. Таксист Тарабанько бросился к окнам, углядел у парадного входа в заведение кремовую машину «Спецмедслужбы», известную также в публичке под названием «Алло, мы ищем таланты».

– Из вытрезвителя, – сообщил Тарабанько.

– Что-то они так рано? – было общее мнение. – Или план горит?

Все с состраданием поглядели на работника банка Моховского.

– Пойду-ка я домой бегемотиков кормить, – сказал Моховский.

– Ну уж нет! – твердо заявили ему. – Ты только стой. А мы тебя прикроем.

Однако за Моховского беспокоились напрасно. Старальцы из вытрезвителя быстро покинули ни с чем (и уж точно – ни с кем) наш мирный автомат. А старший лейтенант Куликов остался. Он по-отечески беседовал со многими, просил не курить, и создавалось впечатление, что скоро из автомата он не уйдет.

Михаил-то Никифорович не спешил. Он, как обычно, не столько сам хотел выпить, сколько желал кого-нибудь угостить. Чтобы беседа шла приятней. А уж вокруг вилось несколько малознакомых личностей, явно любителей выпить на халяву. И дядя Валя, похоже, потерпел бы, дождался бы отхода лейтенанта Куликова. А вот организм Игоря Борисовича Каштанова требовал участия. И немедленного! Михаил Никифорович сжалился над бедным Игорем Борисовичем, сказал:

– Ну пойдем на детскую площадку.

И они пошли. Михаил Никифорович (взяв, конечно, помидоры). Каштанов. Дядя Валя со стаканом в кармане. Гонец Филимон Грачев... Шествие их и теперь перед моими глазами.

Обладатели остальных бутылок до ухода лейтенанта Куликова от принятия доз решили воздержаться.

Кто-то с сумками из нашей компании уходил, кто-то прибывал с теми же как будто бы сумками. Разговор тек по многим руслам, пиво шло пока хорошее. Отбыл из автомата лейтенант Куликов. Но присутствие его полагалось чувствовать еще полчаса, бутылки оставались нераскупоренными. Пора было бы вернуться с детской площадки четвертым, а гонцу Филимону Грачеву следовало бы получить со всех пайщиков по пятнадцать капель. Однако четверо не шли, вызывая у нас догадки и опасения. Не увезла ли их кремовая машина? Не свалилась ли с крыши льдина и не разбила ли бутылку? Какое-то предчувствие холодило нашу компанию.

И нелишним было это предчувствие!

Вошли четверо. Мы сразу поняли, что они странные.

– Вы что? – спросил я.

– Да ничего, – сказал Михаил Никифорович.

Но мышца над ноздрей его чуть ли не рвалась. Дядя Валя икал. Зрочки Филимона Грачева сдвинулись к переносице. Игорь же Борисович шел бесчувственный, вид его был жуток. Но при этом внимательный глаз мог бы углядеть, что из карманов Михаила Никифоровича высовываются бутылки коньяка и дяди Валин карман не пустой.

– Ну что? Приняли? – спросил я.

– Нет! – дядя Валя чуть не закричал.

И последовал рассказ о случившемся на детской площадке...

Понятно, им, в особенности Игорю Борисовичу, уже не терпелось. Сорвали штемпель, дядя Валя держал стакан. И тут из бутылки вышла женщина. Бутылка и поначалу насторожила дядю Валу. В Останкине водка идет исключительно Московского ликеро-водочного завода, редко когда – Александровского. А тут на крышке было обозначено: Кашинский ликеро-водочный завод. Хотели дать в морду Грачеву, но тот справедливо пожал плечами – ходили бы сами. Кашинский значит Кашинский, лишь бы стакан был чистый. И все же нехорошее чувство возникло у дяди Вали. Сам он не стал открывать бутылку, а передал ее Михаилу Никифоровичу.

И когда Михаил Никифорович открыл бутылку (а дядя Валя держал стакан рядом), из нее вышла женщина. А может, девушка. Женщина-то хрен с ней, но бутылка-то оказалась пустой. Никакой жидкости в ней уже не было. Игорь Борисович вздрогнул. А тут женщина, которая не просто стояла как человек, а плавала над детской площадкой, заговорила. Здесь я передаю сведения, какие мы получили от четверых. Михаил Никифорович и вообще не большой оратор, да и камни бы ему не мешало подержать во рту, дяде Вале в этот раз не хотелось бы верить, язык Игоря Борисовича от нетерпения лишь трясся, Филимон Грачев с бóльшим бы удовольствием, нежели говорил, руки бы жал, поэтому мы, слушая четверых, информацию из их нервных слов как бы выковыривали. Итак, женщина не только вышла из бутылки, но и заговорила. Слова ее были примерно такие. Она, мол, раба человека, который купил эту бутылку. Все выполню, что он захочет, по любому желанию. Навечно будет так. И далее в этом роде. Дядя Валя ей возразил, что пошла бы она подальше, но пусть вернет при этом водку. Тем более что Игоря Борисовича бьет колотун. Она тоже возразила, что она кашинский эксперимент и что колотун в ее образовании – пробел. К словам об эксперименте отнеслись серьезно, но Игоря Борисовича надо было спасать. «Давай две бутылки коньяку армянского розлива и портвейн „Кавказ“, раз ты придуриваешься, и катись, а не то сдадим в милицию!» – сказал ей дядя Валя. Она как-то поморщилась чуть ли не брезгливо, будто ждала более замечательных просьб, но востребованные бутылки возникли. Потом она опять сказала, что она раба хозяина бутылки («Хозяев! – поправил ее дядя Валя. – Мы – на троих!»), другие слова говорила, некоторые проникновенные, выходило, что она то ли фея, то ли ведьма, то ли какая-то берегиня. Она и на землю опустилась, а ножки у нее были стройные, или же их обтягивали хорошие джинсы. Михаил Никифорович осмелел и попытался даже из дружеского расположения взять женщину за талию. Она тут же вспыхнула, как бы взорвалась, и исчезла. Кашинская бутылка выпала у Михаила Никифоровича из рук и разбилась. Все вокруг зашипело, а голые ветки тополей и яблонь долго вздрагивали. Остаться на детской площадке компания, понятно, не могла...

– Вы хоть теперь-то дайте выпить Игорю Борисовичу, – сказал Собко. – А то он упадет.

– Неизвестно, что это за коньяк такой, – возразил Михаил Никифорович, – выпьешь и превратишься еще в козла, как братец Иванушка.

– Давай! – резко сказал Игорь Борисович.

Было видно, что ему теперь все равно, в козла так в козла, а то действительно упадет. Михаил Никифорович не сразу, и несколько отстранив от себя бутылку, отодрал крышку и вырвал пробку. Все были в напряжении. Однако из бутылки никто не вышел. Игорь Борисович ухнул стакан, проглотил помидор. Его приставили к стенке.

– Ну кто еще будет? – спросил Михаил Никифорович.

– А! Давай я! – отважился дядя Валя.

Конечно, это была пошлость – пить коньяк в пивном заведении. Водка и вино ладно... Но даже я попробовал из бутылки с детской площадки. Раз такая история. Ереванского он розлива или нет, определить никто не мог. Да и подумаешь! Что за чудо такое, ереванский-то розлив.

– Нет среди нас братцев Иванушек, непорочных душ, – сказал Собко.

– Это верно, – согласился Игорь Борисович Каштанов.

Он оживал, и я посчитал возможным возвратить ему авоську с черным хлебом и рыбацкой ухой.

– Наврали они все! – решил таксист Тарабанько, поставив на полку стакан, освобожденный им от портвейна «Кавказ».

– А ты что, им поверил, что ли? – удивился Собко. – Ты что, дядю Валу не знаешь?

– А откуда у меня взялись деньги на коньяк? – возмутился дядя Валя. – И на портвейн?

Тут все зашумели, стали высказывать предположения, откуда взялись. Во-первых, дяде Вале срочно из Испании на детскую площадку подослали прибавку к пенсии. Вроде прогрессивки. Во-вторых, таких видных мужчин, как Михаил Никифорович или Игорь Борисович,

многие женщины захотели бы взять на содержание, вот они и стали для начала приманивать их коньяком. В-третьих, Филимон Грачев мог по дороге продать вырезки с кроссвордами какому-нибудь особенному любителю.

– Ну галдите, галдите! – сказал дядя Валя. – А вот вы сейчас откройте другие бутылки, которые принес Филимон, из них, может, чего похуже женщины выйдет.

Действительно, те бутылки еще не трогали. Пришла их пора. Первое разочарование ждало нас при осмотре крышек: перед нами была продукция (я оставляю тут в стороне бутылки «Кавказа») исключительно Московского ликеро-водочного завода. Когда крышки сдернули, жидкость в бутылках осталась.

– А что ж ты нам-то подсунил Кашинского завода! – закричал дядя Валя на Филимона Грачева. Он был готов пойти врукопашную.

Филимон уже принял все свои капли и к разговору с дядей Валею не был расположен. Только пробормотал:

– Да что вы все злюки какие-то...

Раздались сомнения по поводу существования Кашинского завода вообще. И что за место такое – Кашин? Есть ли оно? И был ли кто в нем? Я развеял сомнения. Я был в Кашине. Стоит Кашин на тверской земле, на речке Кашинке, час плыть по ней тихим пароходом до Волги, и это один из самых приятных городов, какие довелось мне увидеть на Руси. Что касается ликеро-водочного завода, то и такой стоит в Кашине, лет уже сто пятьдесят как стоит.

– Ну вот видите! – обрадовался дядя Валя. – Мне не дадут соврать! Есть завод-то! И Кашин есть! На тверской земле!

– Валентин Федорович, – уважительно сказал Собко, – существование Кашина и столь замечательного завода еще не может стать основанием веры в ваши слова о женщине, вышедшей из бутылки.

– Я один, что ли, ее видел? – горячо заявил дядя Валя. – А эти трое? Мишка, так тот ее и за зад хватал!

– Я не хватал, – сказал Михаил Никифорович. – И не за зад. Я ей руку положил на талию. Для поддержки. Она чуть не упала. Там ведь хламу много, на детской площадке.

Многие из страдавших с утра ожили теперь, как и Игорь Борисович Каштанов, и тоже с удовольствием вступили в беседу. В женщину, конечно, никто не верил, но отчего же и не поговорить о ней?

– И что же, ты и тело ее почувствовал? – спросил Толя Серов.

– Почувствовал, – сказал Михаил Никифорович.

– Ну и как?

– Тело как тело, – пожал плечами Михаил Никифорович. – Женское.

– И сколько ей лет?

– Лет двадцать, – сказал дядя Валя. – Девчонка.

– Нет, нет, двадцать семь, – предположил Михаил Никифорович. – Дама в соку.

– Вот с такими щеками, – сказал Филимон Грачев. – И зубы кривые. Клыки!

– С какими еще щеками! Где клыки! – возмутился Игорь Борисович. – Она точно фея.

– Ведьма, – сказал Филимон. – Шесть букв лежа. Четвертая буква мягкий знак.

– Пойдите, – сказал Серов, – она раба хозяина бутылки, да? Так чья же, выходит, она раба?

– Я понимаю твой интерес, старик, – сказал Собко Серову, – ты дал им шесть копеек.

– При чем тут шесть копеек? – обиделся Серов. – Я в теоретическом плане. Кто хозяин бутылки? И кто хозяин этой женщины?

– А мы на троих, – сказал дядя Валя. – Мы трое и хозяева.

– Тут все нужно уточнить, – продолжал Серов. – Паи-то вы вносили разные...

– Чего уточнять, – сказал дядя Валя. – Она на троих, и все. Она и сама понимает. Я ей велел: гони коньяк. Она – тут же.

– Да никто не оспаривает, дядя Валя, ваших прав, – поморщился Серов. – Но вот Михаил Никифорович внес два сорока, стало быть, у него прав больше ваших.

И снова начались прения. Нам бы – кому на рынок, кому домой, к житейским обязанностям, к умственной работе, к мировым проблемам, а мы все говорили про женщину, будто у нас своих фей и ведьм не хватает в квартирах. Начали даже считать. Два сорока внес Михаил Никифорович, это все видели. Рубль сорок четыре были дяди Валины, рубль тридцать шесть Игоря Борисовича. Итого пять двадцать. Шесть копеек взяли у Серова, четыре у меня. Сумма.

– Вот и делите акции, – сказал Серов.

Собко выразил сомнение насчет Серова и меня как акционеров, заметив, что мы не вносили паи, а просто у нас взяли деньги подлинные пайщики. Я и не претендовал ни на какие права. Но нашлись защитники и моих интересов. А как быть с Филимоном Грачевым? Мог ли он считаться одним из хозяев бутылки? Или гонец и есть гонец, пусть и с пятнадцатью каплями? Подавали голоса люди, не пожалевшие мелочь на помидоры, в том числе и Кошелев, но их урезонили, сказав, что из помидоров никто не вышел. Таксист Тарабанько указал как на существенное обстоятельство на то, что именно Михаил Никифорович открыл бутылку.

– Джинн, – сказал он, – всегда служит тому, кто его выпустил.

– Джин! – проворчал дядя Валя, недовольный этим соображением. – Ты еще скажи – виски! Нам на их нравы наплевать! У них своя посуда! А у нас была водка, старорусская, понял?

И все же сомнения остались. Ясности в ситуации с женщиной в нашей компании не было.

Тогда и возникли Шубников и Бурлакин, шумные люди. Закричали:

– Здорово, дети подземелья!

Были они ровесники, прожили по тридцать пять лет, оба носили бороду и усы. Но Бурлакин, кандидат наук, математик или ракетчик, работавший в хорошей фирме, казался бородатее Шубникова. Борода у него росла лопатой и была черная, как неблагодарность. Бурлакин был известен публике и тем, что раз в четыре месяца назло врагам неделями изнурил себя голоданием. Друг его Виктор Шубников окончил когда-то кинематографический институт (выпускников и студентов ВГИКа было всегда немало в нашем автомате), или не окончил, работал на телевидении, потом был фотографом, потом массовиком на турбазе, потом кто знает кем, теперь нигде не работал, а по субботам и воскресеньям торговал на Птичьем рынке щенками. Имел в базарные дни по семьдесят, а то и по сто рублей. Кандидат наук Бурлакин ему ассистировал. С утра они скупали у мальчишек псин дворовых пород, а часа через два предлагали солидным людям благородных животных с княжескими родословными. Оба были артисты. Мы ездили на Птичий рынок смотреть их работу.

От большинства торговцев Птичьего Шубников с Бурлакиным отличались интеллигентностью (Шубников кроме бороды носил еще и очки). Таким можно было верить. От таких можно было без раздумий приобрести ньюфаундленда, пусть он и походил на помесь дворняги с таксой. Рассказывали, что однажды некоей дорогой одетой даме Шубников сторговал хомяка, уведенного Бурлакиным из живого уголка 280-й школы, выдав хомяка за щенка-суку северокавказской овчарки.

И вот они теперь вклинились в нашу компанию, громкие, напористые, удачливые, видно, что с Птичьего рынка, а потом и из рюмочной на Таганской площади. Услышав историю кашинской бутылки и женщины, Шубников радостно заорал:

– Михаил Никифорович, ты мой золотой! А ты ведь должен мне два с полтиной. Брал неделю назад. Должен?

– Должен, – сказал Михаил Никифорович. – Вот бери.

– Ну уж нет! – захохотал Шубников. – Теперь я у тебя не возьму. Считаю, что это мои два с полтиной пошли на ту бутылку. Стало быть, и все права на женщину мои!

– Точно! Его! – закричал Бурлакин.

– Таких, как ты, я в гражданскую расстреливал, – сказал дядя Валя. Потом добавил, указав при этом не только на Михаила Никифоровича и на Игоря Борисовича, но – для убедительности – и на нас с Серовым: – Мы, пайщики, клали на твои вонючие два с половиной.

Шубников был наглец. Иные заходят в троллейбус и робко объявляют – «сезонный», «единственный», будто в чем-то виноваты, а Шубников басит: «Пригласительный!» – и садится. Однако он не любил какие-либо свои предприятия подводить к мордобой. Впрочем, тут он заупрямился.

– Мои права есть мои права, и я от них не откажусь!

– Точно! Не отказывайся! – снова заорал Бурлакин.

Публика зашумела. Некоторые считали, что коли два с половиной рубля имели место, то почему бы не принять их во внимание. Тем более что Шубников был брошенный женой и в будние дни – без реальных источников дохода. Большинство же полагало, что мало ли кто кому должен. И тут именно стали вспоминать, кто кому и сколько был должен. Разговор грозил принять малоджентльменский характер.

– Да прекратите! – громко заявил Собко. – Из-за чего шум? Из-за женщины, которая из бутылки... Пошутили, и хватит. Не было ее и нету!

– Вон, вон она! – вскричал дядя Валя. – Идет!

Палец его указывал в сторону двери. Действительно, мимо стойки с раздатчицей монет Полиной шла женщина. Красивая. Со вкусом одетая. Волосы русалочьи. Трезвая. И что-то трепетное, ищущее было в ее глазах, стремилась она к кому-то. И не было в ней ни ненависти, ни брезгливости, ни чувства превосходства, ни победительной решимости, какие бывают у женщин, являющихся в наш автомат за своими мужчинами...

– Фея! – тонко произнес Игорь Борисович Каштанов.

– Ведьма, – пробормотал Филимон Грачев, – злюка какая-то...

А мы замерли, молчали в оцепенении. Метров семь оставалось дойти ей... И тут двое мужчин, направлявшихся к выходу, заслонили ее, и, когда они прошли, женщины уже не было, а на ее месте столб синего дыма утекал потихоньку к потолку.

– Как будто бы она, – задумчиво сказал Михаил Никифорович.

– Видимо, никак контактов с нами не может установить, – предположил дядя Валя. – Что-то ломается в ней.

– Да бросьте вы! – сказал Серов, социолог. – Она же в дубленке! Как же это она в дубленке из бутылки вышла? Из кашинской!..

И все же мгновенная пропажа женщины удивила. Впрочем, нынче они именно в мгновение могут появиться и в мгновение пропасть... Разговор теперь шел как бы по инерции. Все будто притихло. Или задумались. Даже Шубников с Бурлакиным не шумели, не трясли бородами, не требовали ничего. Долго молчавший финансист Моховский произнес в связи с этим (а может, и просто так) свою любимую фразу:

– Главное, не бежать впереди паровоза.

И все потихоньку стали расходиться.

А Михаил Никифорович остался.

3

Дней десять не был я на улице Королева. В среду зашел в автомат часа в четыре. Думал, постою минут десять и уйду. Знакомых было мало. Я подошел к Мише Лескову, тридцатилетнему инженеру-энергетику. Лесков болел за «Торпедо», с «Торпедо» и начался у нас разговор.

– Да, ты знаешь, – сказал Лесков, – Анатолий Сергеевич Серов в субботу будет есть шапку.

– Нет, не знаю.

– Он тебя разве не пригласил?

– Что значит пригласил? Я просто один из тех, в присутствии кого он обязан есть шапку.

Если он порядочный человек.

– У него две шапки.

– Есть он должен ту, что из каракуля. Он в ней спорил.

– Я вчера встретил Собко, – сказал Лесков. – Он говорит, Серов объявил: шапку будет есть в субботу.

Серов не верил в фортуна наших хоккеистов, в споре был упрям и безрассуден, а может быть, в тот вечер в автомате давал выход раздражению, причины которого нам были неизвестны, во всяком случае называл нас дураками и ставил на чехов. Спорил он сразу с шестью ценителями хоккея, и идея относительно шапки посетила именно его. Он тогда кричал: «Вы будете есть шапки, а я на вас погляжу!» Прошло три недели, и, когда стало ясно, что не мы теряли шапки, а обречен его коричневый пирожок, Серов вдруг заартачился. Мол, все это шутка и у нас должно быть чувство юмора. «Руки разбивали?» – спрашивали его. «Разбивали», – соглашался Серов. «Тогда ешь!» Вскоре многие перестали здороваться с ним, дали понять, что лучше ему съезжать из Останкина, здесь не любят людей, не умеющих держать слово. И вот Серов сделал объявление о субботе.

– Ну а Михаил Никифорович как? – спросил я.

Михаил Никифорович жил в соседнем доме, и по возвращении с работы ему нелегко было миновать автомат. По сведениям Лескова выходило, что за неделю Михаил Никифорович изменился. Больше молчит, пьет одно пиво и словно бы о чем-то думает. И глаза у него то мечтательные, то печальные. Видно, происходит что-то в его душе. А возможно, у него какие-нибудь неприятности по службе. Михаил Никифорович тоже спорил с Серовым, вернее, Серов и его вынудил спорить с ним. Как и Игоря Борисовича Каштанова, меня, Собко, летчика Германа Молодцова и Володю Холщевникова с телевидения. Михаил Никифорович Серова жалел и поначалу поддерживал старания того назвать весь этот спор шуткой. Конечно, шутка, согласился автомат. Но шапку он пусть ест.

Тут зашел в автомат сам Михаил Никифорович. Действительно, был он грустный.

– Что так рано? – спросил Лесков.

– Что-то неможется в последние дни, – сказал Михаил Никифорович. – Станный какой-то стал.

Он закурил. Стояли мы теперь не под табличкой «Не курить», а под гордостью автомата, да и всего Останкина – большим медным листом на деревянной основе, за который управление торговли уплатило чеканщику триста шестьдесят два рубля. Посреди листа была выбита радующая душу кружка, курчавая, как борода Зевса, медная пена вываливалась из нее. По обе стороны кружки лежали тарелки: справа на тарелке был расположен рак, слева – какая-то рыба, полторы штуки, нередко среди свежих посетителей автомата возникали споры, лец ли это, рыбец ли, сырок или же чехонь? Или же еще какая-нибудь историческая особь. Ясно было, что не вобла. Замечательная эта чеканка, как бы компенсировавшая отсутствие в автомате какой-либо закуски к пиву (кроме сушеного картофеля в пакетах), появилась здесь после

ремонта. До ремонта заведение на Королева было грязным и вонючим. Некоторые женщины, неизвестно зачем возникавшие в мужском гуле, в сигаретном дыму, кривились и, может, вспоминали о противогазах или иных средствах гражданской обороны... Голубовато-серые ободранные стены – пространство для движения рыжих тараканов, немые плитки под ногами располагали к тому, что прямо под ноги и бросали всякую дрянь – промасленную бумагу, яичную скорлупу, огрызки бутербродов, да чего только не валялось на полу! И пиво из кружек туда плескали. Мерзко тут было! Впрочем, никто об этом не думал, лилось бы пиво и не было бы разбавленным. А после ремонта, что вы! Мастера отделали помещение под избу, обшили стены досками, доски же покрыли лаком. Там и тут появились деревянные подзоры, солнца, полотенца и орнаментальные полосы с языческими мотивами. Под одной из арок поставили чугунные ворота, а за ними на жардиньерках разместили выющиеся растения – как бы зимний сад. И вот чеканка. При такой чеканке дрянь уже не хотелось бросать на пол, руки сами тянулись к урнам. Раньше чего в туалете только не писали! Какие люди не оставляли здесь своих имен («Вася-псих из Оренбурга», «Коля из МИСИ, дипломник» и прочие), какие истины здесь не провозглашались! Теперь осталась только одна надпись в центре чистейшего потолка, видно, пожалели ее маляры: «Пусть стены этого сортира украсят юмор и сатира!»

Но сегодня и чеканка с закусками не радовала Михаила Никифоровича.

– Что это ты? – удивился Лесков.

– Да так... – вздохнул Михаил Никифорович. Тут он словно вздрогнул, зрачки его забегали, будто отыскивали кого-то в толпе, Михаил Никифорович напрягся... Но вскоре напряжение отпустило его. – Показалось, что ли... – пробормотал Михаил Никифорович. – Никто не окликал меня?

– Никто, – переглянулись мы с Лесковым.

– Не первый раз на этой неделе... – сказал Михаил Никифорович. – Будто кто-то хочет поговорить со мной. Но словно бы звонит из испорченного автомата...

– А ты попроси перезвонить, – предложил Лесков.

– Это не так смешно, – сказал Михаил Никифорович. – И моя душа будто ожидает чего-то, стремится, что ли, к чему-то...

Фраза была совершенно несвойственна Михаилу Никифоровичу. Мы с Лесковым опять переглянулись и, видимо, подумали об одном, но решили странной темы вслух не касаться.

– У тебя в аптеке, может, чего стряслось? – предположил Лесков. – Ну, в субботу развеешься. Серов будет есть шапку.

Эта новость несомненно оживила Михаила Никифоровича.

А в автомате становилось теснее. Уже спрашивали, нет ли лишних кружек. Тогда и появился Игорь Борисович Каштанов. Заметно возбужденный. К нам он не подошел, а остановился метрах в десяти, у окна. Потому как был с дамой. Даму эту мы хорошо знали.

Это была Татьяна Алексеевна, лет тридцати от роду, бывшая жена участкового милиционера. Но не Куликова, из-за кого наши пайщики ушли на детскую площадку, а приятеля Куликова лейтенанта Панякина, участкового иных кварталов. Но, может, и не приятеля, а так, сослуживца. Впрочем, бывшего сослуживца, потому что в милиции Панякин уже не работал.

Года два подряд Игоря Борисовича Каштанова сжигала страсть к Татьяне Алексеевне. Одно время он сильно пил, не имел средств, дружба с Панякиной его устраивала. Бывало, сидит он дома в тоске в час ночи, вдруг – стук в дверь, на пороге Татьяна Алексеевна, оставившая спящего мужа в квартире, и при ней авоська с пятью бутылками вермута. Игорь Борисович даже думал тогда жениться на ней. Татьяна Алексеевна иногда и на месяцы переходила жить к Каштанову. Служебные чины уговаривали ее вернуться по-хорошему. Но где уж там! Разве можно было женщине уйти от Игоря Борисовича!

Игорь Борисович Каштанов мужчина был примечательный. Окончил два института. Сначала строительный. Потом кинематографический. И как-то быстро сделал карьеру. Ему, моло-

дому, дали редактировать журнал. Он и сам в ту пору пописывал. Выпустил с соавтором две книжки. Журнал дали не очень именитый и не толстый. Но журнал. Как полагается. Для Игоря Борисовича он был звездой пленительного счастья. И деньги приносил. Но что тогда были для Игоря Борисовича деньги! Бывало, в дни, когда Игорю Борисовичу выдавали гонорар или авансы, жена его, а Игорь Борисович был женат и любил свою Олю, посылала доверенных лиц, целую экспедицию, Долотова в числе других, сопровождать Игоря Борисовича в странствиях от кассы до дома. Но и доверенные лица не спасали семейство Каштановых от предвиденных потрат. Пройдет Игорь Борисович по дороге домой сквером, увидит на скамейке влюбленную пару и посыплет ее десятками. Спустится в туалет по нужде, протянет червонец уборщице, попросит: «Помолись, бабушка, за меня, грешного!» А доверенные лица, Долотов в том числе, бывали к тому времени уже в таком праздничном состоянии, что и свои десятки были готовы рассыпать по скверам. Или вот. Знаменит в Останкине ресторан «Звездный». Так Игорь Борисович снимет его на вечер, встанет в дверях и приглашает в зал любого проходящего по улице Цандера, кто ему приглянется. Он застолья любил в ту пору куда крепче, нежели заседания редколлегии. А потому и продержался редактором полгода. Душа его однажды поутру находилась в рассеянном состоянии, чутье притупилось, и он напечатал какие-то легкомысленные или даже безответственные фотографии. Его низвергли. «Ничего, – решил он, – будет больше времени для настоящей литературы». Он много надежд возлагал на свою прозу. Но она шла трудно. И Игорь Борисович оставлял на столе чистую бумагу и шел в автомат на Королева, тогда еще с винными и коньячными кранами. Жена Оля стала его упрекать. Правда, говорила: «Пей, но пиши. Я готова тебя кормить, но ты пиши». С работы Оля возвращалась полседьмого. Игорь Борисович каждый день спешил домой из автомата к пяти, садился за машинку, брал том Платонова, перепечатывал из мастера страничку и вечером предъявлял ее жене. Оля умилялась, говорила: «Вот видишь, ты же талантливый, как ты пишешь! Неужели ты не можешь взять себя в руки!» Однако потом и перепечатывать Платонова стало Игорю Борисовичу лень. Ольга ушла от него.

Но давно это было. Лет десять назад.

И без работы и без жены Игорь Борисович существовал скорее весело, нежели грустно. В автомате, в ресторанах Останкина и Выставки он пребывал даже неким героем со всякими неправдоподобными легендами. Многим было интересно посмотреть на него и тем более напоить и накормить Игоря Борисовича, эти люди и на могилу Сережки Есенина ездили с вареными яйцами и белыми бутылками. Оставалось у Каштанова немало влиятельных друзей или приятелей, жалевших его, желавших вернуть Игоря Борисовича в большую жизнь, они устраивали ему командировки и авансы. Командировочные Игорь Борисович охотно брал, но никуда не ездил, а широко гулял. Заключал и авансовые договора, однако не выполнял своих обязательств. На квартире его всегда было шумно: звучали и мужские голоса, и, конечно, женские, и благородное стекло звенело, заставляя старушку, подселенную к Игорю Борисовичу после отъезда Оли, тихо сочинять в своей комнате жалобы на соседа. Иногда сердиты были на Игоря Борисовича и его гости. Кое-каких денег, и будто бы немалых, не обнаруживали они, случалось, в своих карманах и бумажниках. Некоторые горячие люди стремились что-то доказать Игорю Борисовичу кулаками. Порой готовы были сразиться с Игорем Борисовичем и неудачливые мужья. Дважды наносили ему тяжелые удары пивными кружками по голове, вызывая потерю сознания. Но Игорь Борисович выходил из больниц и улыбался. Он вообще был обаятельный.

Но тут в судьбу Игоря Борисовича вмешались судебные исполнители. Уж очень он задолжал разным учреждениям. И пришлось Игорю Борисовичу работать, чтобы расплатиться за командировочные и авансы. Сначала он был устроен мойщиком троллейбусов в проезде Олимпийского. А затем его направили ночным сторожем в павильон юннатов Выставки. Игорь Борисович сокрушался, что все это дела не творческие, и был обрадован, встретив однокурсника по строительному институту. Тот взял его к себе в контору. Был Игорь Борисович разнорабочим,

потом стал учетчиком, а потом и прорабом. Долги все еще висели над ним. Но надо сказать, что в последние месяцы Игорь Борисович был аккуратнее. Не в смысле внешнего вида. Тут Игорь Борисович даже и в дни безобразий был опрятен и красив, всегда в костюме, белой рубашке и при галстуке. Нет, теперь он мог зайти в автомат трезвый, взять лишь пару кружек пива и ни с чем то пиво не смешать. Говорили, будто страсть его к Татьяне Алексеевне угасала. А Игорю Борисовичу пришлось многое перетерпеть из-за этой страсти. Панякин развелся с Татьяной Алексеевной, но все же пытался вернуть ее в дом, действовал и угрозами. Игорь Борисович вступался за честь Татьяны Алексеевны, порой с нарушением правил, а потому однажды был увезен с улицы Королева в известном направлении на пятнадцать суток. Потом запил Панякин, был уволен из милиции и иногда брался с Игорем Борисовичем на наших глазах в автомате. И вот теперь Игорь Борисович начал жить аккуратнее. Страсть его к Татьяне Алексеевне, может, совсем угасла, Татьяна же Алексеевна все крутилась возле Игоря Борисовича, и сейчас разговор их с расстояния представлялся нам нервным.

– Вот, вот, опять! – быстро сказал Михаил Никифорович.

– Что – опять? – спросил Лесков.

– Кто-то окликнул меня.

– Не слышал, – признался я.

– А как тебя окликали-то? – спросил Лесков. – По имени или по фамилии?

– Не по имени и не по фамилии, – угрюмо ответил Михаил Никифорович.

В это мгновение Игорь Борисович Каштанов, чуть ли не кричавший до того что-то Татьяне Алексеевне, встал перед ней на колени, вернее, припал на одно колено, как подданный или как раб, и замер на секунду с опущенной головой. Татьяна же Алексеевна выпрямилась, застыла, будто дочь сандомирского воеводы вблизи фонтана, правую ногу выставила вперед и носком ее постукивала теперь по керамическому полу. Игорь Борисович поднял голову, протянул руки к постукивающей этой ноге – возможно, в то мгновение для Игоря Борисовича и царственной – и снял с нее туфлю. Тут в его движениях вышла задержка. Туфлю он был вынужден поставить на пол и обратился к авоське, висевшей на крюке под полкой, вынул оттуда бутылку портвейна «Агдам», бутылку эту открыл. Татьяна Алексеевна держала ногу несколько на весу, видимо не желая запачкать чулок. Игорь Борисович наполнил туфлю портвейном «Агдам», бутылку утвердил на полу, поднял туфлю торжественно, будто держал в руке турий рог, оправленный золотом, и был намерен читать стихи, губы его шевелились, потом он церемонно выпил темно-красную жидкость и, не вставая, преподнес туфлю Татьяне Алексеевне. Татьяна Алексеевна туфлю приняла. Рассмеялась зловеще и с силой с размаху туфлей ударила Игоря Борисовича по щеке. Громко заявила: «Так будет всегда!» – надела туфлю и победительницей отправилась к выходу. Игорь Борисович вскочил, побежал на улицу за Татьяной Алексеевной.

– Страсти-то какие! – сказал Лесков. – А ты, Михаил Никифорович, со своими сигналами!

Рассказывая об эпизоде с Игорем Борисовичем и туфлей, я как бы выделил его из жизни автомата, будто бы перенес его на сцену. У людей несведущих могло возникнуть впечатление, что жизнь в автомате прекратилась, все только и были заняты отношениями Игоря Борисовича и Татьяны Алексеевны, глазели на них. Нет. Движение людей с кружками вокруг Игоря Борисовича не прекращалось, если кто и смотрел на него, то так, краешком глаза. Между прочим. Мало ли какие драмы и комедии могли произойти сейчас на других площадках автомата. Кому какое дело до манер Игоря Борисовича! Ну хочет пить на коленях, ну пусть и пьет. Может, ноги его не держат. Это мы, знакомые Игоря Борисовича, проявили к нему внимание, и при этом нас более всего занимала мысль, будет ли пить Игорь Борисович из этой туфли... Однако выпил...

– Фу-ты, как можно пить из такой разношенной! – поморщился Михаил Никифорович. Михаил Никифорович был известен своей чистоплотностью, кружки в автомате мыл минут по пять, хотя и понимал, что толку от этого мало. – Пойду-ка я подышу свежим воздухом...

Он дышал, я беседовал с Лесковым, и тут меня как будто бы кто-то окликнул. Назвал по имени и отчеству. Голос был женский. Я оглянулся. Женщины рядом не было. Спросить Лескова, окликал ли кто меня, постеснялся. «Неужели это из-за тех четырех копеек?» – подумал вдруг. И сейчас же прогнал нелепую мысль. Однако же кто-то окликал...

Автомат был уже забит. Знакомые люди теснились рядом. Кто-то принес кильку, кто-то болгарскую брынзу. Пили уже пиво дядя Валя, летчик Герман Молодцов, два брата инженеры Камиль и Равиль Ибрагимовы, Володя Холщевников с телевидения – тот угощал черными сухариками, приготовленными особым способом, с подсолнечным маслом и чесноком. Появились и таксист Тарабанько, и уса́тый красавец Моховский, работник банка, он же пан Юрек, и тихий человек Филимон Грачев. Зашел на этот раз и Коля Лапшин. Он, как и дядя Валя, был шофером и тоже имел склонность к фантазиям. Фантазии Лапшина от дяди Валиных отличались. Лапшина влекли иные, нежели дядю Валью, моральные ценности, иные доблести и геройства. Коле было тридцать четыре года. Однако из его рассказов выходило, что он уже провел в колониях особого режима не менее пятидесяти лет. Убивал, участвовал в групповых насилиях и разбоях, грабил банки. Некоторые слушали рассказы Лапшина внимательно и уважали его. Верили, например, что он своим основным предметом может поднять ведро с водой или разбить граненый стакан. Другими же слова Лапшина брались под сомнение. В особенности дядей Вaley. Дядя Валя готов был показать людям, что он-то ладно, а вот Лапшин по всем статьям лгун. Банков не грабил, никого не насиловал и примерный семьянин. Сегодня Лапшин пришел сильно покорябанный. В черных очках. И лоб его и щека были ободраны, а под глазом цвел синяк.

– Асфальтовая болезнь? – участливо спросил дядя Валя.

– Еще чего! – обиделся Лапшин. – Опять задавил.

– Насмерть?

– Насмерть. Восьмой труп. Дура баба. Выскочила откуда-то, а там лед. Она как на коньках и прямо под меня.

– А морду где покорябал?

– А я в столб.

– Врешь, – сказал дядя Валя. – Восьмого давишь – и ни разу не был виноват?

– Ни разу. Они сами.

– Дурочку-то не валяй! Мордой вчера проскребся по асфальту. А нам лапшу на уши вешаешь. У тебя и фамилия такая – Лапшин!

– Да ты! Да я тебя!

Их разняли. Лапшин еще бурчал что-то, а в зал вошли Михаил Никифорович и Игорь Борисович Каштанов. Каштанов был по-прежнему возбужденный. Минуты через две в автомате появился Собко, можно было предположить, что в его кейсе, как и всегда, лежит купленный по дороге килограмм трески горячего копчения в сетке. Так оно и оказалось. Треска была предложена нам.

– Ты что как обиженный воробей? – спросил Собко Игоря Борисовича Каштанова.

– Они нынче вино «Агдам» из туфли пили, – сказал Михаил Никифорович.

– Пил! Ну пил! – взорвался вдруг Игорь Борисович. – Что ты, Миша, понимаешь! Что ты видел в своих курских деревнях! – Игорь Борисович размахивал руками, движения его были красивыми. Как бы поставленными.

– А что же это вы туфлей по лицу схлопотали? – не выдержал Лесков.

– Ну... – сник вдруг Игорь Борисович. – А-а!.. Мне жалко ее... Да что говорить!.. Тут такой узел... И не развязать и не разрубить!..

И на глазах Игоря Борисовича появились слезы. Всем стало неловко. Кто-то пошел за пивом, тихий человек Филимон Грачев достал вырезку с кроссвордом, многие сразу принялись гадать вслух, какой же такой персонаж пьесы Островского «Без вины виноватые» из пяти букв.

– Серова нет, – сказал Собко, – а он просил напомнить, что известное событие у него в субботу в четыре часа.

Все зашумели, заговорили о шапке.

– Подумаешь, пирожок из каракуля! – сказал Лапшин. – Я однажды на спор съел радиолампу.

– Крошил, что ли, и глотал? Какую лампу-то?

– ЛД-34. Не крошил, а прямо жевал.

– Врет он! – обрадовался дядя Валя. – Он хлеб-то губами мнет. И лапшу.

– Я вру?! – вскипел Лапшин. – Да давай мне прямо сейчас лампу! Хоть целый приемник!

– Опять, – тихо произнес Михаил Никифорович.

– Ты что?

– Опять кто-то зовет меня...

– Тебе, Миша, действительно лечиться надо. Малинки бы тебе на ночь...

Но тут странная сила подняла, подбросила Михаила Никифоровича, повлекла его ввысь, несколько секунд на глазах у публики, растерянный, он висел возле самой чеканки и мог даже коснуться волшебной кружки с курчавой пеной, а потом был опущен на пол.

Хорошо хоть, Лапшин был среди нас в тот вечер. Он заговорил первый.

– Это что! – сказал Лапшин. – А вот меня однажды в Калмыкии, только я в сайгака прицелился, так прихватило и подняло, что я полчаса висел над степью, тут мне бы по нужде сходить, а я ружье держу, штаны расстегнуть нечем, и сайгак убежал...

Эти слова Лапшина нас несколько успокоили. Даже дядя Валя не стал на этот раз оспаривать его сведений. А, видно, подмывало его сказать что-то относительно штанов...

4

И пришла суббота.

Накануне Серов обзвонил всех кого следовало и подтвердил насчет четырех часов.

Была обговорена и процедура субботней встречи. Решили, что и со стороны проигравшего и со стороны победителей должны присутствовать секунданты или ассистенты, которые обязаны следить за чистотой исполнения условий пари. Чтобы потом Останкино не сомневалось. Победители могли пригласить также друзей – по другу на победителя. Желая проявить великодушие и не подрывать экономическую мощь семьи Серовых, мы постановили: совместить друзей и секундантов.

– Как хотите, – сказал Серов. – На стол уже все куплено.

Стол у Серовых был накрыт богатым. Напитков хватило бы и на две смены друзей. Было и пиво. Серов, оказывается, собирал кружки, прекрасные экземпляры их, числом почти пятьдесят, были вывезены им из разных пьющих и непьющих стран, и теперь он хотел, чтобы мы опробовали в деле его коллекцию.

– Всему свое время, старик, – справедливо заметил Собко.

Игорь Борисович Каштанов явился без ассистента и без друга. Михаил Никифорович привел дядю Валю. Не такой уж дядя Валя был ему друг и ассистент, но, видимо, по дороге к Серову Михаил Никифорович увидел дядю Валю и позвал. Я так думал потому, что сам, гадая, кого вести к Серову, заметил тихого человека Филимона Грачева в печали и пожалел его. Летчик Герман Молодцов опоздал, он летал с утра куда-то в низовья Волги и прибежал к Серову без друга, но с семикилограммовым сазаном. Сазан был опущен в ванну. Ассистентом со стороны Собко был признан адвокат Миша Кошелев. Посоветовавшись, доверили ему составление протокола. Володя Холщевников с телевидения тоже пришел без друга. Казалось, Серов был несколько обижен столь малым числом участников встречи, он ждал более серьезного отношения к себе. При нем были два ассистента, его соседи. Конечно, присутствовала и жена Серова, Светлана Юрьевна, блондинка, веселая и крепкая. Такая, наверное, и в городки могла удачно играть.

Надо сказать, что большинство из нас впервые попало в дом Серова. Мы стеснялись Светланы Юрьевны. Известно, что может думать жена о знакомых мужа по пивной. Но Светлану Юрьевну наше происхождение не смущало. Возможно, она вообще была женщина без предрассудков.

– Ну что? – сказал Серов. – К столу? И нальем?

– Нет, – покачал головой Собко. – Мы не будем. До этого. А ты можешь.

Собко был самый крупный из нас и самый рассудительный, в командиры не лез, но порой виделся и командиром.

– Давай шапку, – сказал Собко.

Серов сразу стал серьезным, пошел за шапкой. Внес ее он торжественно на блюде для заливной рыбы. Утвердил на столе.

– Нож точил? – спросил Собко. – Или будешь грызть?

– Точил, – вздохнул Серов.

– Но жевать-то ему все равно придется, – предположил летчик Герман Молодцов.

– Мы решили, – сказал Собко, – для облегчения твоей участи разрешить тебе воспользоваться растительным маслом или сметаной. Можешь макать кусочки в жидкость.

– Нет, – сказал Серов строго. – В этом нет нужды.

«Экая в нем гордость», – подумал я.

– Ты не робей! – вступил дядя Валя. – Михаил Никифорович врач, поможет, если что...

– Да, старик, – подтвердил Собко, – дело тут рискованное, и мы попросили медицинского работника иметь при себе аптечку, английскую соль и клизму.

Лицо Серова так и осталось строгим, а вот крепкая блондинка Светлана Юрьевна обрадованно рассмеялась. И мы поняли, что она не только крепкая, но и задорная.

– Прошу победителей, побежденного, секундантов и протоколиста, – сказал Собко голосом церемониймейстера, – занять свои места. А уж Светлану Юрьевну в особенности.

Места были заняты мгновенно. Один лишь Серов не сел, застыл в задумчивости, его не теребили, может, он так себе и намечал – кушать стоя. Серов глядел на шапку. И мы стали глядеть на нее.

Некоторая метаморфоза происходила в нашем отношении к этой шапке. Раньше мы на нее и не обращали внимания. Ну шапка и шапка на голове у Серова. Ну пирожок. Правда, из каракуля. По нынешним временам, стало быть, дорогая вещь – только такое летучее соображение прежде и являлось. Но теперь-то перед нами, лишенная своей бытовой функции, переместившаяся с головы Серова или с вешалки в прихожей на фаянсовое блюдо для заливной рыбы, шапка превращалась в нечто особенное, чуть ли не в живое существо, которому сейчас предстояло быть принесенным в жертву, предстояло погибнуть и исчезнуть. Коричневые тугие завитки, казалось, вздрагивали и шевелились в ожидании заклятия. Но и Серов будто бы сейчас изменился, словно бы разросся – так виделось мне, – стал фигурой особенной, идиолом каким-то или жрецом...

– Не жаль вам вещи-то? – обратился летчик Герман Молодцов к Светлане Юрьевне.

– У него есть еще одна, – рассмеялась Светлана Юрьевна. – А в случае чего пришлют шкурку из Бухары.

Их слова отчасти нарушили возвышенные состояния наших душ. Но отчасти...

Собко снял часы с руки, положил на стол, сказал:

– Я засекаю время.

– Да, да, – кивнул Серов.

Нас он и не видел сейчас. Возможно, тоже находился мыслями и душой в неких высях. А впрочем, был он человеком практическим, как тот же Герман Молодцов, и вполне мог теперь думать и о стоимости вещи или же об услугах Михаила Никифоровича.

Но вот Серов сел на стул, подвинул блюдо к себе, взял вилку и нож. Наточенный нож долго не мог справиться с каракулем, еще и подкладка мешала. Теперь приходилось жалеть о том, что накануне не было консультации с понимающими людьми, хотя бы со скорняками и шорниками, и вот Серов маялся, разделявая меховое изделие (живое жертвенное существо из квартиры уже как будто бы исчезло). Наконец он отрезал кусочек, выпилил, выковырнул его. Вцепиться в мех вилка не смогла, и Серов, забыв о приличных манерах, сдернув салфетку, пальцами сунул кусок шапки в рот. Долго жевал. И вот кадык его дернулся, челюсти разжались.

– Проглотил? – спросила Светлана Юрьевна.

– Проглотил, – кивнул Серов.

Тут мы ожили. Можно было и к угощениям тянуться. Но мы не потянулись. Серов стал отрезать новый кусок. Потолще.

Надо ли было ему есть дальше? Не одному мне, чувствовалось, пришла в голову эта мысль. Ну ладно, проявил Серов готовность к исполнению условий пари, убедил нас в том, что сможет, испортил шапку, и хватит! Мы строгие, но отходчивые. Кто-то сказал об этом, правда робко. Как бы от себя. Но Серов продолжал. Резал, жевал и проглатывал. Тут уже и Собко произнес с некоторой надеждой:

– Ну, наверное, хватит, старик.

Но Серов только мотнул головой... Минут через пятнадцать он съел уже треть шапки. Он стал нас раздражать. Создавалось впечатление, что он издевается над нами или – хуже того – получает удовольствие от своей пищи. Нам-то каково! Что же нам-то смотреть, как он

выламывается, смотреть на стол, на котором стынут и сами по себе холодные закуски. И в этом богатом столе виделось уже нам заранее придуманное издевательство. Когда Серов мучился с первым куском каракуля, он был нам друг. Теперь же, обедающий в одиночку, он стал нам врагом. А судя по скорости движения его челюстей, нам еще предстояло сидеть дураками не менее сорока минут.

И тут Серов подавился.

Он вздрогнул, дернулся, подался вперед, будто его должно было вырвать. Мы сразу же поняли, что дело тут серьезное. Михаил Никифорович подскочил к Серову, стал колотить его по спине. Не помогло. Лет десять назад один мой знакомый погиб оттого, что ему в дыхательное горло попал кусок отбивной. Сейчас Серов откинулся на стуле и был похож на того знакомого. Глаза его закатились, лицо синело. Лишь однажды дернулись веки, шевельнулись губы, какое-то усилие делал Серов, последнее, прощальное, или молил о чем-то, просил спасти, но сразу же лицо его стало неподвижным.

– Толя! Толя! – кричала Светлана Юрьевна. – Нет! Нет!

– В «скорую»! Надо в «скорую»! – бросился к телефону Собко. – В реанимацию!

– Миша! Ты же медик!

– Разрешите! – услышали мы вдруг.

Мы обернулись.

Женщина шла к столу. Шла быстро. Мягко, но и с силой отстранила, чуть ли не оттолкнула Михаила Никифоровича, склонившегося над Серовым, руку опустила на лицо Серова, прошептала что-то тихое, спокойное, и Серов ожил.

Он встал и принялся ходить вдоль стола. Правая рука его поднималась, будто указывая на нечто, и губы дергались. Сначала его движения показались мне бессмысленными, но потом я понял, что он пересчитывает свои коллекционные пивные кружки.

– Анатолий Сергеевич, – сказала женщина, – вы садьте.

Серов поглядел на нее удивленно, но не сел.

– Толик, – сказала женщина ласково, – сядь.

Серов кивнул, подошел к своему стулу, сел. Недоеденная шапка лежала перед ним на рыбном блюде.

Теперь удивленно поглядела на женщину Светлана Юрьевна. Потом она перевела взгляд на мужа, взгляд этот как бы соединил женщину с Серовым, и было в нем подозрение.

Надо сказать, что хождение Серова вдоль стола нас несколько успокоило. Суетились мы вокруг потерявшего сознание Серова, понятно, перепуганные, понимание же всей серьезности случая должно было прийти к нам после. И вот мы отдышались. Всё сознавали, и тем не менее мысли наши об отлетевшем ужасе, о возможности гибели Серова были теперь легкими. То ли оттого, что Серов ожил и позволил себе энергичное хождение вдоль стола. То ли оттого, что за его стулом стояла новая для нашей компании женщина.

– Садитесь, – твердо сказал Серов. – Надо доесть.

– Да ты что! Зачем! Хватит! – зашумели мы.

– Нет, – сказал Серов. – Садитесь.

И он доел шапку.

Доел быстрее, чем следовало ожидать. Мы не так волновались теперь и за него и за себя. Только Светлана Юрьевна нервничала, но не из-за шапки. Серов стал вытирать салфеткой губы, а Светлана Юрьевна сказала с укоризной:

– Толя, ты освободился и, может быть, познакомишь нас с новой гостьей?

– Я не знаю ее, – сказал Серов, впрочем, тут же спохватился, поклонился незнакомке, сказал: – Извините...

– То есть как не знаешь! – теперь уже с угрозой произнесла Светлана Юрьевна.

Этой угрозы я от нее не ожидал. «Ты врешь! – читалось на лице Светланы Юрьевны. – Ну а если и незнакома, что же торчит здесь, могла бы уже и катиться!» Неловко нам всем стало.

– Это моя ассистентка! – вскричал дядя Валя. – И даже не моя! А Михаила Никифоровича! Ведь он тогда бутылку открывал! Не я же! Михаил Никифорович, ты что молчишь! – И дядя Валя толкнул Михаила Никифоровича в бок.

– Да... – пробормотал Михаил Никифорович, – моя... она... подруга и эта...

В иной раз педант Собко обратил бы наше внимание на то, что Михаил Никифорович привел уже одного друга и ассистента, а именно дядю Валю, и, стало быть, хватит. Но тут он промолчал.

– И как же вас зовут? – улыбнулась Светлана Юрьевна подруге Михаила Никифоровича. Незнакомка словно бы растерялась.

– Любовь Николаевна ее зовут! – обрадовался дядя Валя.

– Да, Любовь Николаевна, – быстро согласилась гостья, – Любовь Николаевна Кашинцева. Или просто Люба.

– Что же вы стоите-то, Люба, – подскочил дядя Валя, – вы садитесь вот сюда, между мной и вашим Михаилом Никифоровичем.

Любовь Николаевна села, дядя Валя тут же обхватил ее за плечи, Любовь Николаевна руку его сняла, прошептала дяде Вале что-то строго, но доверительно, отчего дядя Валя рассмеялся и сказал громко:

– Но беда-то ведь небольшая, а?

А Михаил Никифорович нахмурился и взглядом дал понять дяде Вале, что поведение его бестактное.

– Да я же к Любочке как отец, – объяснил свой порыв дядя Валя.

А Светлана Юрьевна отошла. И на Любовь Николаевну и на Михаила Никифоровича смотрела ласково. Победу Серова над каракулевой шапкой отметили шумно, со звоном бокалов. Протоколист Миша Кошелев представил нам проект протокола; имевшие право подписаться под ним – подписались. И понеслось застолье.

Тут мы потихоньку рассмотрели Любовь Николаевну.

Женщина она была приятная. То есть так казалось. Это именно она пыталась подойти к нам в автомате, но двое мужчин заслонили ее, и она исчезла. Тогда она шла к нам в свежей дубленке и большой лисьей шапке. И теперь она была одета прилично. Не знаю, какие нынче наряды в Кашине – я был там в последний раз лет пятнадцать назад, – но, во всяком случае, наша Любовь Николаевна провинциалкой не выглядела. Для Москвы, оговорюсь, для Москвы! Может быть, для какого-нибудь Парижа она была явная провинциалка. А для нас внешность и манеры ее сошли вполне за светские. К Серову явилась она в джинсовом костюме, и было видно, что костюм этот не от «Рабочей одежды». В красоте, или, вернее, миловидности, ее лица виделось нечто стандартное, но, впрочем, забавный короткий нос, полные губы, тихая крестьянская улыбка, правда редкая, отчасти эту стандартность разрушали. И была сегодня у Любви Николаевны коса, темно-каштановая. Но не та коса, которая для иных женщин, особенно пышных, становится как бы сущностью натуры, а коса, скорее, декоративная, элемент сложной прически, сочиненной дамским мастером в стиле ретро. Нет, неплохо выглядела подруга Михаила Никифоровича, и не наблюдалось в ней ни необыкновенных щек, ни кривых клыков, обещанных нам Филимоном Грачевым. Как и Михаил Никифорович, я дал бы ей лет двадцать пять – двадцать семь.

Сидела она смирно, больше молчала. Как бы прислушивалась и присматривалась к нам. Даже я ощутил дважды ее заинтересованный взгляд. Словно бы исследовательский. Мы и сами на нее глазели. Экое явление! Впрочем, скоро застолье отвлекло нас от наблюдений за Любовью Николаевной. Пошли в ход и коллекционные кружки, Светлана Юрьевна принесла из кухни горячие креветки, в шуме и звоне Любовь Николаевна как бы утонула: была она за

столом и не было ее. Однако через час мы о ней вспомнили. Курильщики решили выйти из-за стола, я не курю, но тут понял, что и мне нужно выйти. И так случилось, что у шахты лифта мы оказались всемером: Михаил Никифорович, Игорь Борисович Каштанов, дядя Валя, Филимон Грачев, я, Серов и Любовь Николаевна.

Курила она «Новость», Игорь Борисович протянул ей зажигалку, она затянулась, пальцы у нее были тонкие, красивые.

– Извините, пожалуйста, что я об этом поведу речь, – сказала Любовь Николаевна, – но мне ночевать негде.

Мы молчали, смотрели в стены.

– Вы ведь разбили бутылку там, на детской площадке, – сказала Любовь Николаевна. – Где же мне жить?

– У меня вся комната завалена гирями и гантелями, – хмуро заявил Филимон Грачев.

– Жить я имею право лишь у основных владельцев бутылки, – сказала Любовь Николаевна деликатно, как бы извиняясь перед Серовым, мной и Филимоном.

Мы с Серовым только головами покачали. Вот, мол, какие печальные обстоятельства.

– Любовь Николаевна, – галантно произнес Игорь Борисович Каштанов, и было видно, что говорит он искренне, – я бы с удовольствием ввел вас в мой дом, но моя соседка тут же наскребет жалобу, я же в плохих отношениях с райисполкомом.

– А я импотент! – выскочил дядя Валя. – У меня был климакс! Я тем более не могу.

– При чем тут импотент? – удивился Каштанов.

– А при том! – обиделся дядя Валя. Потом он сказал: – И бутылку я не открывал и не разбивал. Я бы посуду сдал. Это Мишка трахнул ее о кирпичи!

– Я же нечаянно... – пробормотал Михаил Никифорович.

– А у меня из-за этой бутылки... – жалобно произнесла Любовь Николаевна, и губы ее нервно вздрогнули, – у меня из-за нее... Я и прийти-то к вам не могла... И...

Она сразу же замолчала. Видно, и так сказала лишнее.

– Не печальтесь, Любовь Николаевна, – заверил ее растроганный Каштанов. – Мы вас пристроим. Вот у Михаила Никифоровича однокомнатная квартира.

– Да уж, – обрадовался дядя Валя, – ты, Миша, бери ее! Ты бутылку разбил!

Мы поддержали Каштанова и дядю Валю.

– Пожалуйста, – неуверенно произнес Михаил Никифорович, – только ведь Любовь Николаевна – женщина, я буду стеснять ее.

– Ничего, – сказал дядя Валя. – Да я бы на твоём месте!..

– Я столько пережила за эти дни... – сказала Любовь Николаевна. – Мне так нужно было выйти к вам, а я не могла... Вот только когда ощутила просьбу Анатолия Сергеевича, лишь тогда я прорвалась...

Мы вспомнили то мгновение. Просьба Серова, а то и мольба его, была существенная... Но сейчас мы уже думали о Любви Николаевне. Стояла она тихая, нежная, с влажными глазами, и мы расчувствовались, жалели ее, хотели бы ее поддержать, а то и приласкать, как беззащитное дитя.

Тут нас позвали к столу: была подана индейка.

– Знаете, – сказала Любовь Николаевна, – пока это все снова не началось...

– Пока глаза у нас еще умненькие! – уточнил дядя Валя.

– Да, именно так, – продолжила Любовь Николаевна. – Я бы хотела просить вас об одолжении. Мне нужно знать о ваших желаниях, но о желаниях не случайных, не пустячных, исполнение которых, может, и пользы вам не принесет, а о желаниях, для каждого из вас важных... Вы подумайте, и завтра мы встретимся...

– Зачем же завтра! – сказал Каштанов. – Вы отдохните, с Москвой познакомьтесь. Сходите на ВДНХ. Или в «Ванду» – в «Вечерке» пишут: там фестиваль косметики. Или на Таганку. А уж потом соберемся.

– Хорошо, – согласилась Любовь Николаевна.

Мы ели индейку и запивали ее кто чем. Тут и позвонили в дверь Шубников с Бурлакиным. В доме Серовых прежде они не были. Да и в автомате Серов вряд ли здоровался с ними, так, наблюдал их порой... А они пришли.

– Ба! – заорал Шубников. – Вот вы где от нас попрятались! В Останкине только и разговоров что про шапку. Мы с Бурлакиным на Птичке мерзнем, а они здесь пьют и закусывают! Нехорошо, господа офицеры!

И Шубников с шумом занял стул, руки протянул к блюду с индейкой.

– Слушай, Шубников, – сказал я, – чего вы пришли-то? Вас кто-нибудь звал сюда? Толя, ты звал их?

– Ну! – обиделся Шубников. – Это, наконец, не по-джентльменски! Вы, гости-ветераны и хозяева, нас, свежих, замороженных, должны были бы приглубить и обогреть, а ты дерзишь! – И он положил себе на тарелку приметный кусок белого мяса, в мюнхенскую же кружку плеснул «Сибирской».

– Что такое? Что такое?! – появился в комнате Бурлакин, задержавшийся было в прихожей.

– Да вот попрекают нас с тобой, Бурлакин! – сказал Шубников.

– Какие неблагородные люди! – взревел Бурлакин. – А у них там в ванне рыба плавает! И фыркает!

– Мой сазан, что ли? – удивился летчик Герман Молодцов.

– Сазан! Ничего себе сазан! Кит! Моби Дик! Нам бы его, мы бы на машину наторговали!

– А они нам его подарят, – сказал Шубников. – Зачем им сазан-то? Мы здесь только одни с тобой и понимаем душу животных.

– Тут и женщины! – оглядев компанию, повеселел Бурлакин. – Но мы им не представлены.

И Бурлакин, как бы имея в виду женщин, исполнил некий книксен. Покачнулся, но все же выпрямился. Все были сытые и напоенные, благодумствовали, я со своим неприятием Шубникова и Бурлакина остался в одиночестве. Они были представлены Светлане Юрьевне, проявили себя комплиментщиками. Ручку у дамы целовали и вспоминали строки из песен трубадуров («Я, вешней свежестью дыша, на пыльную траву присев, узрел стройнейшую из дев, чей зов мне скрасил бы досуг...»). Словом, кое-как оправдали свое высшее образование, отчасти гуманитарное. Пришел черед Любви Николаевны. Услышав о том, что эта прелестная амазонка – подруга Михаила Никифоровича, Шубников, видно, сразу что-то заподозрил.

– Миша, – заявил он тоном сюзерена, – а насчет трех рублей ты не забыл?

– Двух с половиной, – вздохнул Михаил Никифорович.

– Ну двух с половиной. Экий ты педант!

– Не забыл. Пожалуйста, возьми их.

– Ну уж нет! Ты мне их теперь не всучишь! Я догадываюсь, чем тут пахнет. Я свои права и возможности знаю!

– Мы знаем свои права! – загоготал Бурлакин.

– Меня не проведут. Я за эти три рубля и сотню не возьму! – заявил Шубников грозно. Но тут же успокоил публику: – А вот сазана я возьму. Не за те три рубля, конечно, а так.

Все пошли смотреть молодцовского сазана. Молодцов уверял, что его сазан еще утром резвился в Волге и лишь по дурости и недостатку воображения дернулся к проруби, но когда перед съедением шапки сазана выгружали из рюкзака и опускали в ванну, то вид он имел скорее

усопшего, нежели живого, хотя и дергал хвостом. Сейчас же он плавал и резвился и выглядел на все свои семь килограммов. Бурлакин с Шубниковым только руки потирали и охали:

– Такого бы на Птичку! С этакой драматической мордой он бы им показал!

Неожиданно моим союзником выступил Собко. Он сказал Серову:

– Старик, отдай ты им рыбу. И пусть они катятся.

– Фу! Это грубо! – расстроился Шубников.

Впрочем, тут же он побежал на кухню, отыскал там ведро, какое не могло не оказаться на кухне останкинской квартиры, с трудами и воплями всунул рыбу в ведро и сказал Бурлакину:

– Пошли. Пока живой!

Уже в дверях Шубников скорчил зловещую рожу и сказал Михаилу Никифоровичу:

– Помни про три рубля-то! Помни! – Потом добавил: – Рыбка ты моя золотая!

Глядел он не на ведро с сазаном и не на Михаила Никифоровича, а прямо на Любовь Николаевну. И смех его был мерзкий.

После ухода Шубникова с Бурлакиным все вернулись к индейке, но тихим стало застолье. То ли о сазане скучали, то ли еще о чем... Потом возникла гитара. И запели. «Гори, гори, моя звезда...» – громко пел Герман Молодцов. И мы подпевали. Неожиданно запела Любовь Николаевна. Голос у нее был красивый, низкий, грустный. Пела она вот что: «Что ты жадно глядишь на дорогу в стороне от веселых подруг...» Пела медленнее, чем того требовал привычный темп песни, и оттого ее пение казалось усталым, печальным и вечным. Остальные голоса как бы расступились и отпали. Все умолкли. Я слушал Любовь Николаевну закрыв глаза. Деревня виделась мне, изгибы неспешной речки Кашинки, трепет листьев на прибрежных ивах, дрожание и покачивание водорослей в прозрачной, пока еще не зацветшей воде. И вдруг в видениях этих мелькнуло зловещее лицо Шубникова...

5

Назавтра мы, пайщики кашинской бутылки, встретились у Михаила Никифоровича.

Мы с Серовым сразу заявили, что свои голоса считаем совещательными, раз женщина и ночевать у нас не имеет права, поговорить поговорим, а решать дело не наше. Филимон Грачев промолчал. Он-то был намерен решать, но кроссворд. Он и достал вырезку из рекламного приложения к «Вечерке».

Поначалу мы прошлись по квартире, пытаясь обнаружить следы пребывания здесь женщины. Но ничего этакого не обнаружили. По сведениям Михаила Никифоровича, Любовь Николаевна на самом деле с утра ушла смотреть Москву, видно, ей тут все было в новинку.

– Небось с авоськами пошла, – предположил дядя Валя. – Или с рюкзаком. Я бы давно все электрички посжигал! Ну как, Миш, баба-то она ничего?

– Я-то откуда знаю...

– Ну ладно, Миш, дурачком-то не прикидывайся! – Дядя Валя подмигнул нам. – И ночевать она пошла сразу к тебе. Не к кому-нибудь.

– Дядя Валя, – сказал Михаил Никифорович, – она ведь и к вам просилась, да вы ей отказали...

– Просилась! Если б хорошо просилась, то и устроилась бы. И уж не жалела б. Но зачем мне она? У меня уже одно животное есть. Собака.

– Я пришел, постелил себе в ванной, – сказал Михаил Никифорович, – сразу заснул. Ее не видел.

– А что она ела-то? – спросил дядя Валя.

– По сковородке можно понять: делала яичницу.

– Этак она тебя по ветру пустит.

– Было бы что пустить, – сказал Михаил Никифорович.

– Ну ладно, – заметил Серов. – Она возьмет и придет. А мы так и не выработаем никакой программы.

– Я, – сказал Игорь Борисович Каштанов, – от такой женщины ничего не буду просить, ни тем более требовать.

– А что в ней такого особенного? – сказал дядя Валя. – Баба как баба. Только что из Кашина. Но Каштанов прав. Не должны мы, здоровые мужики, сесть на шею Любочке!

– Кстати, – спросил я, – почему Любочка? Почему – Любовь Николаевна? Откуда это?

– Оттуда, – сказал дядя Валя. – Была у меня когда-то Любовь Николаевна... И я вам доложу... – Дядя Валя замолчал. Застеснялся.

– Но ведь Любовь... эта женщина... она ведь не ваша подруга, а Михаила Никифоровича...

– Ну и придумывал бы Мишка ей имя! – сердито заявил дядя Валя. – И почему же это одного Михаила Никифоровича? Я что, не вносил рубль сорок четыре? Но не будем выклинивать у Любочки того-сего. Не будем просить, чтобы у нас в домах кисель тек из кранов, чтоб ворота «Спартак» от мяча бегали, чтобы она нам носки штопала.

– А меня вот что волнует, – сказал Серов. – Не связаны ли будут... эти... ну, наши отношения с Любовью Николаевной с какими-либо обязательствами... Не придется ли нам за них расплачиваться... Как бы не было тут какой-нибудь шагреневого кожи или портрета Дориана Грея...

– Или геенны огненной! – вставил дядя Валя.

– Какие вы мистики! – удивился Каштанов. – Да такая женщина!..

Мы с Михаилом Никифоровичем посчитали соображение Серова здравым. И решили: выясним прежде насчет обязательств и уж потом будем говорить об услугах и желаниях. Я-то

вообще не стал бы ни о чем просить Любовь Николаевну, даже если бы и дал на бутылку не четыре копейки, а рубль пятьдесят. И Серов заявил, что ему никакие ее услуги не нужны. Тут, правда, была одна тонкость – Серов-то уже воспользовался услугой. Я чуть было не напомнил ему об этом, однако вышла бы бестактность. Да и вряд ли в то мгновение Серов мог помнить о кашинской бутылке и молить о чем-то именно Любовь Николаевну.

– Ну ладно, – сказал Серов, – надо составлять документ. Садитесь, Игорь Борисович, и пишите. А впрочем, что я вам говорю, вы документ и составляйте, а мы втроем будем зрителями.

– И советчиками, – сказал дядя Валя.

– По части формулировок, – уточнил Серов.

И действительно, документ был составлен без промедления. То ли из-за спешки, то ли потому, что авторы документа были не совсем искренни друг перед другом и как бы оставляли в стороне главные свои интересы и заботы, не проникла в документ особенно интересная информация о каждом из пайщиков кашинской бутылки. Была проявлена и некая осторожность по отношению к Любви Николаевне, а то ведь на самом деле, развесивши уши, можно было вляпаться с ней неизвестно во что. Пайщики давали понять Любви Николаевне, что они существа одушевленные и самостоятельные, что они сожалеют о требовании, предъявленном ей на детской площадке, хотя там заявка на коньяк ереванского розлива и портвейн «Кавказ» была отчасти вызвана драматичностью ситуации. «Больше никогда в жизни», просил записать лично от него в документ дядя Валя, – он был решителен и горд, правда, что-то тут же произнес, не слишком, впрочем, внятное, о прибавке к пенсии из Испании. С поправками к документу выступил Игорь Борисович Каштанов. Он просил подчеркнуть, что не намерен посягать на женские достоинства Любви Николаевны, не будет использовать никакие ее прелести, в чем и нам предлагает поддержать его. То есть все были благонамеренными и никаких кусков ухватывать не желали.

– Ей самой надо помочь, Любочке-то, – сказал дядя Валя уже в лифте. – Что-то у нее там не получается, помните, как она вчера то и дело страдала.

– Затурканная она, – согласился Михаил Никифорович.

– И нежная, – сказал Каштанов. – И верно вы ей, дядя Валя, имя нашли. Именно Любовью ее и звать...

– Какой Любовью! – поморщился Филимон Грачев. – Варварой ее звать! И больше никем!

6

На следующий день мы встретились с Любовью Николаевной на квартире Михаила Никифоровича. Опять возникло собрание. А когда мы стали рассаживаться, вышло так, будто бы мы избрали Любовь Николаевну председательницей. Или, скажем, будто бы Любовь Николаевна была народным судьей, а мы заседателями.

– Я познакомилась с вашей запиской... – начала Любовь Николаевна.

– Простите, – сказал Серов, – у меня есть своего рода предварительные соображения...

И опять пошли слова о шагреневой коже, о портрете Дориана Грея, но выяснилось, что ни Бальзака, ни Уайльда Любовь Николаевна не читала.

– Но я вас поняла, – сказала Любовь Николаевна. – Нет, вы не будете связаны каким-либо обязательством. Вы уже заплатили.

– Пять рублей, что ли? – спросил дядя Валя.

– Пять рублей тридцать копеек, – кивнула Любовь Николаевна.

– И все? – удивился дядя Валя.

– И все, – сказала Любовь Николаевна. – Но вы меня опечалили. Вы ведь мне ничего не приказали.

– В этом нет нужды, – сказал Каштанов.

– Да, – подтвердил Михаил Никифорович. – Нет нужды. Мы самостоятельные. Мы – мужики. И не расстраивайтесь. Как раба вы нам не нужны. И в бутылку мы вас не закупорим.

– Такую-то женщину! – сказал Каштанов.

– Гуляйте себе, веселитесь, – продолжил Михаил Никифорович. – Тратьте свободно свою молодую жизнь.

– Нет, – сказала Любовь Николаевна грустно. – Вы все неверно понимаете. Я ведь теперь для вас неизбежна. Даже если вы намерены отказаться от меня, то я не имею возможности вас бросить. Вы поймите. Ведь я не только ваша раба, но и ваша берегиня.

Филимон поднял голову и посмотрел на Любовь Николаевну с удивлением. Таких слов он в кроссвордах не встречал.

– Что-то в «Неделе» было, – задумался Серов, – про берегиню...

– Нет, в «Труде», – сказал дядя Валя, он уважал исключительно «Труд».

Я знал про берегиню, наверное, больше других пайщиков кашинской бутылки, читал труды академика Бориса Александровича Рыбакова и иные умные книги, но говорить об этом сейчас не стал.

– Я предупреждала вас еще там, на детской площадке, – сказала Любовь Николаевна, – что я раба и берегиня.

Некая энергия и резкость проявились в последних словах Любови Николаевны, будто она желала принудить нас к чему-то. Это мне не слишком понравилось. Впрочем, мне-то что было волноваться! Я себя и осадил. Я бы и на собрание пайщиков кашинской бутылки не пошел, но попробуй усмири любопытство...

– А как берегиня, – сказала Любовь Николаевна, – я обязана действовать самостоятельно, не дожидаясь ваших просьб.

– Так дело не пойдет, – покачал головой Михаил Никифорович. – Вы раба и уж будьте покорны!.. – Михаил Никифорович, минуту назад улыбавшийся, сидел сердитый. Всегда он был мирный и доброжелательный, а сейчас в нем что-то взыграло. – Если вы будете так вести себя, – продолжал он, – я охотно признаю, что те два сорок были не мои, а Шубникова.

– Ты что, Миша! – испугался дядя Валя. – Он и так уже у нас рыбу унес. Семь килограммов.

– Ничего, – сказал Михаил Никифорович, – вот Шубникову нужны рабы и берегини.

А Любовь Николаевна заплакала.

Кому из мужчин приятно смотреть на женские слезы. Да еще в компании! Тут все сразу же принимаются изучать потолок и посуду за стеклом серванта – из деликатности и в расчете, что слезы скоро сами собой иссякнут. Не бросаться же за стаканом воды – вовсе не героиня Жорж Санд перед тобой, а современница Светланы Савицкой. Лишь чувство неловкости возникает, как будто нарушаются правила общежития или неизбежный ход эмансипации. Или даже подозрения вспыхивают – не артистические ли это слезы, не притворные ли? Но Любовь Николаевна, похоже, не играла, а заплакала честным образом. И та ее назидательная энергия, которая минутами раньше насторожила меня, забылась. И жалко стало Любовь Николаевну, будто она девочкой-лимитчицей приехала к нам из своего добрейшего Кашина или ближней к Кашину лесной деревни с желтыми кувшинками в тихой поленовской воде и сейчас сидела раздавленная, испуганная напором жестокой столичной суеты. И нам ли, этой суетой взлелеянным, ко всему привыкшим, было терзать чистую, наивную душу! Нам бы подумать, сколько у этой кашинской девчонки забот и страхов – и с пропиской, и с устройством на работу, и вообще с гражданским состоянием и с прочим! Может, и деньги, спрятанные где-нибудь в платье или на груди, кончились у нее. Может, от троллейбусов она шарахалась, а в автобусах ее тошнило! И какие муки пришлось ей испытать, заставляя себя войти в пивной автомат. А нам бы только от нее отделаться, бросить ее, слабую, в водопады московской жизни!.. Не один я, видимо, так думал сейчас, и другие пайщики были растроганы. Дядя Валя встал, подошел к ней, даже движение рукой сделал, будто хотел погладить Любашу (Любаву?), успокоить ее, бедолагу, но сдержался.

Один Михаил Никифорович сидел строгий.

И этот строгий мужчина был намерен передать Любовь Николаевну наглецу Шубникову! Беззастенчивому торговцу перекупленными щенками и взрослыми вонючими псынами. А уж тот-то при своей склонности к авантюрам, при своем бузотерстве мог не только развратить Любовь Николаевну, но и вовсе погубить ее, мог вообще черт-те чего наделать в Москве.

– Да ты что, Миша, – заговорил Филимон, – злюка-то какой!

– А ничего, – сказал Михаил Никифорович.

– Не позволим к Шубникову! – заявил дядя Валя. – Не дадим!

Шелковым платком Любовь Николаевна вытерла слезы. Улыбнулась. И будто бы мы слышали звуки деревенского утра, когда роса на листьях подорожника еще хрустальная и холодная, и будто бы запахло в комнате парным молоком.

– Извините меня, – сказала Любовь Николаевна, – за бабью слабость... И не из-за Шубникова я... Я не знаю, как мне жить дальше... Как быть с вами... И с собой... Может быть, я не поняла многое из того, что должна была знать... Про свое назначение... Про то, что и как делать...

– Нет, надо пожалеть девушку, – обратился к нам дядя Валя. И спросил Любовь Николаевну: – А может, мне удочерить тебя?

Любовь Николаевна покачала головой.

– Это лишнее, дядя Валя, – сказал Игорь Борисович Каштанов, и были некий протест в его голосе и словно бы напоминание и о его правах. – Нам просто надо принять условия Любви Николаевны. Придется помочь ей. Будем терпеть.

– А я что говорю? – сказал дядя Валя. – Тем более что тут кашинский эксперимент! – добавил он.

– Что там – эксперимент или еще что, нас это не должно касаться, – осторожно заметил Серов.

– Тебя это пусть и не касается, – указал ему дядя Валя, – а мы к экспериментам относимся серьезно. Штемпель-то на бутылке стоял государственный!.. А насчет удочерения вот

что, – обернулся он к Каштанову. – Одна она в Москве пропадет. Ты же видишь, она непри-
способленная. И как, ты думаешь, мы будем крутить с пропиской?

– Вы сначала у самой Любови Николаевны спросите, – сказал Каштанов, – согласна ли
она на это ваше удочерение.

Глядел он на Любовь Николаевну с обожанием и с неким значением, будто бы Любовь
Николаевна должна была показать теперь же всем, что он, Игорь Борисович, из пайщиков
кашинской бутылки ей самый интересный и близкий.

– Ну если не удочерение, – сказал дядя Валя, – тогда фиктивный брак.

– С вами, что ли? – брезгливо сжал губы Каштанов.

– Ну пусть с тобой. Или с Мишкой.

– С Шубниковым, – твердо сказал Михаил Никифорович.

Все возмутились, стали стыдить Михаила Никифоровича. А Любовь Николаевна подня-
лась, сказала тихо:

– Спасибо вам за участие. Но ни удочерять, ни выдавать меня замуж не надо.

И она нам всем поклонилась. Словно прощаясь. Было ощущение, что она сейчас исчез-
нет. Изойдет тихим дуновением. Как некое наваждение, бередившее наши души. И останется
в нас только печаль. А может, и боль... Но Любовь Николаевна не исчезла, не рассеялась в
прохладной мысленной дали, опять явно материальное и человеческое случилось в ней – снова
глаза ее стали влажными.

– Как же мне жить, – сказала она, – если вы от меня отказываетесь?

– Все! – вскричал дядя Валя, сам чуть не плача. – Не могу больше!

– И я! – вскочил Каштанов.

– погоди, я первый, – осадил его дядя Валя.

– Но как же Михаил Никифорович, – сказала Любовь Николаевна, – ведь он... – Тут она
замолчала, не желая, видно, из деликатности разъяснять, кто для нее Михаил Никифорович.

– Ладно, Любаша, вы на него не смотрите, – сказал дядя Валя. – Они, курские, сами знаете.
Но беда-то ведь небольшая, а? А я уж ладно. Я сдаюсь. Готов на первое желание!

– Я вас слушаю, – кивнула Любовь Николаевна.

Дядя Валя, Валентин Федорович Зотов, тут же выразил желание побыть электросексом,
который лечит и двигает глазами. После уточнения терминов он согласился быть экстрасексом.

– Экстрасексом...

– Ну ладно... экстрасексом, – сказал дядя Валя и нахмурился. Он, видно, засомневался
в чем-то и потому добавил нерешительно: – Со следующей недели.

– Хорошо, – сказала Любовь Николаевна.

– Ну! – торжествующе обратился дядя Валя к Михаилу Никифоровичу. – Теперь ты!

– Любовь Николаевна, – сказал Михаил Никифорович, – жидкость в той бутылке была
какая? Пшеничная? Или из табурета?

– Ну если даже из табурета? – обиженно спросила Любовь Николаевна. – Что тогда?

– Что ты к ней пристал! – рассердился Каштанов. – Что ты взъелся-то! Из-за немытой
сковородки, что ли?

– Из-за какой сковородки? – насторожилась Любовь Николаевна.

– Это мое дело, – встал Михаил Никифорович. – Простите, я должен идти. Ждут рецепты.

Молча он направился в прихожую, надел свое серое пальто, кепку. Открыл дверь. А мы
молчали. Делать нам в квартире Михаила Никифоровича больше было нечего. Мы вышли
вместе с ним. Каштанов фыркал возмущенно, губы тонкие сжимал. Дядя Валя лишь плечами
подергивал. А не нам с Серовым и Филимоном Грачевым было требовать от Михаила Ники-
форовича объяснений. Одно было отрадно: не попросил Михаил Никифорович Любовь Нико-
лаевну покинуть его квартиру.

Впрочем, нам-то какое до этого было дело...

7

Дней через десять я узнал, что дядя Валя надорвался. Он еле ходил, плохо ел, мерз душой. Собаку дядя Валя по улице Кондратюка все же выгуливал, но получалось так, словно бы собака выгуливала его.

А началось все со случая с таксистом Тарабанько.

Случая этого я был очевидцем.

Открывая в пивном автомате банку трески в томатном соусе, Тарабанько порезал палец. Даже и не порезал, а поцарапал лохматым краем измученной ножом крышки. Но кровь была. Тарабанько стоял, отправив палец в рот. Понятно, пошли советы: звонить в «скорую», везти несчастного к Склифосовскому и прочее. Тут дядя Валя и заявил, что он берется прекратить кровь и без Склифосовского. Тарабанько вынул палец изо рта, кровь текла. Дядя Валя отошел от Тарабанько метров на шесть. «Оттуда слабо будет!» – говорили дяде Вале. «Да я хоть от той стены могу прекратить и заморозить!» – заявил дядя Валя. И он смело, будто Суворов на Чертовом мосту, ринулся к стене, на которой, между прочим, и была укреплена чудесная чеканка с кружкой пива и вымершими рыбами. У Равиля Ибрагимова не выдержали нервы, он крикнул, что предоставит дяде Вале за четыре сорок две, если тот прекратит кровь. «Тихо!» – сказал дядя Валя, даже и не приняв во внимание приманные слова Ибрагимова. Он был уже не здесь. И мы притихли. Казалось, и пиво нигде не лилось, и кассирша Полина прекратила размен монет. Тарабанько стоял базальтовым столбом – до того значительным и для него стало происходящее. Светильники горели не все, и в полумраке автомата глаза дяди Вали казались углями. Пламя вот-вот могло полыхнуть из них. Сколько мы так стояли? Минуту, две, три, больше? И в нас самих, похоже, кровь застыла. «Все! – хрипло произнес дядя Валя. – Опустай!» Тарабанько опустил палец, но не сразу, и поглядел на него как будто бы со страхом. Крови не было. То есть она была, но засохшая.

А дядя Валя в это мгновение рухнул.

Его подняли и поставили.

Возле стены он кое-как укрепился, но был не в себе. Сила из него вышла, поняли мы. «Исполни обещание!» – сказали Равилю Ибрагимову. Он согласился исполнить, но при этом дал понять, что принимает во внимание лишь болезненное состояние дяди Вали, что же касается прекращения крови, то тут он не верит. За это время, считал Ибрагимов, кровь на тарабаньковской царапине и сама могла засохнуть. Тем более что палец был поднят вверх, а прямо над ним крутился вентилятор. Возможно, что Ибрагимов был и прав... Впрочем, о пальце Тарабанько скоро забыли. Пытались поправить здоровье рухнувшего дяди Вали. Ничего не помогало. Расстраивало нас полное безразличие дяди Вали к явлениям жизни. Лишь однажды губы его зашевелились, и мы услышали, что пусть ему, дяде Вале, не верят, пусть, еще пожалеют, вот он возьмет и на тех, которые не верят, наведет порчу. Однако угроза была тусклая и безвольная, никаких надежд на прибавление сил не дала, дядя Валя тут же затих. Пришлось его вести домой. Самое обидное было в том, что останкинские жительницы, и тем более общественницы, могли принять дядю Валью за нетрезвого, а ему сама мысль о спиртных напитках была в ту пору противна.

И вот неделю дядя Валя, рассказывали, страдал: не касался золингеновской сталью щек, не следил за политическими событиями в Испании. Только собака выводила его на полчаса на улицу. А так он лежал.

Рассказывали, что раза три посещал дядю Валью наглец Шубников.

Я купил апельсины, зашел к дяде Вале. Дверь дядя Валя не запирает, лежал на диване. В ответ на мои слова прошептал что-то. Но вряд ли существенное.

– Помочь, дядя Валя, надо? – осторожно спросил я. – Может, врачей каких привести?

Дядя Валя не ответил.

– Шубников вам настроение не портит? – поинтересовался я после неловкой паузы. – А то скажите. Мы его отвадим.

И теперь дядя Валя не открыл рта. Он и глаз не открывал.

Глупым становилось мое пребывание возле недужного. Я стал оглядывать комнату. Я уже говорил как-то, что в доме дяди Вали я ни разу не был, хотя он и звал меня к себе. Я боялся, как бы знание тех или иных свидетельств дяди Валиной жизни не испортило и не исказило впечатлений от его повествований, прошлых и неизбежных новых, не стало бы своей определенностью одергивать мое воображение и дяди Валины фантазии... А тут я видел фотографии на стене над диваном. Вот жена дяди Вали, покинувшая его года три назад. Вот его дочь, смазливая девица, чернявая, видно верткая, теперь она замужем – тоже за таксистом – и живет в Марьиной роще. Вот сам дядя Валя, молодой, ушастый, рядом именно с Эйзенштейном. Вот он положил руку на плечо Василия Ивановича Чапаева. Впрочем, в пору вскинутого клинка Василия Ивановича дядя Валя по хронике его жизни был младенцем, и если точнее – грудным. Стало быть, кто же это – не Василий Иванович, а, предположим, Бабочкин? Определить точно я не смог. Подойти к стене не решился. Снимок так и остался для меня загадкой. Были и иные фотографии. Скажем, дядя Валя в красноармейской форме без погон, наверное на финской. А вот он с погонами возле трехтонки, на ней, если вспомнить его историю, он возил снаряды в сорок четвертом в Белоруссии. Испанских снимков не было. Впрочем, это ничего не значило...

– Ты эту... не видал?... – прошептал дядя Валя, открывая глаза и словно бы выныривая из дремотного состояния.

– Нет, – сказал я. – Работы было много. Никого я не видал.

– Что же это она?... – еле произнес дядя Валя.

– А может, ее и вообще уже нет? Была – и нет... И потом, дядя Валя, ведь вы просили ее дать вам силу со следующей недели. А дожидаться не стали...

– Но сейчас-то уже срок пришел... – Кое-как он все же приподнялся, опустил ноги на пол. Сказал: – Положи на стол предмет.

Я достал из авоськи апельсин.

– Нет, – поморщился дядя Валя. – Мелкий предмет.

– Спичку, что ли?

– Спичку, – кивнул дядя Валя. – Две спички. Нет, стакан с водой.

– Да что вы, дядя Валя! Ну зачем!

– Неси стакан...

Прозвучало это как последнее желание, я вздохнул, пошел на кухню. Стаканы у дяди Вали были все деловые, граненые. Тяжелые. Воды я налил чуть-чуть. Стакан поставил на край стола, поближе к дяде Вале.

Он сжал губы и уставился на стакан. Такой приказ был в его глазах, что и меня, казалось, боковым течением его воли, как худого комара, отнесло к окну. Но стакан был будто примерзший. Пять минут пытался подвинуть дядя Валя глазами предмет. Я словами хотел помочь дяде Вале, но удержал себя, убоявшись спугнуть дяди Валино вдохновение. Или разрушить его энергию... На седьмой минуте дядя Валя и сам закрыл глаза.

– Замени стакан спичкой, – понял я из движений его губ.

Я уж нарочно – и не спеша – отнес стакан на кухню, чтобы дать дяде Вале мгновения отдыха.

И спичку дядя Валя сдвинуть не смог.

Слег опять, ноги еле-еле занес на диван.

– Может, я поищу Любовь Николаевну, – сказал я неуверенно. – Или хотя бы Михаила Никифоровича?

Опять молчание было мне ответом...

На самом деле, что же Любовь Николаевна-то? Странной казалась непоследовательность ее действий. Или просто необязательной была девушка? Ну ладно, не дала она пока силы дяде Вале (хотя, возможно, дядя Валя и сам что-либо напортил, принявшись прекращать кровь и двигать предметы раньше срока?). Ладно. Но что же дальше-то мучить его? Или Любовь Николаевна и вправду больше не существовала?

– Оставь меня, – сказал дядя Валя.

Я пошел к двери, хотел было еще раз спросить дядю Валу о посещениях Шубникова: отчего-то беспокоили меня эти посещения. Но дядя Валя повернулся к стене. «А не унес ли Шубников, между прочим, собаку?» – подумал я. Нет, собака спала на коврикe возле двери, дышала невинно, но еле заметно, будто готова была испустить дух, видно, и ее, как хозяйина, покинули силы. Стало быть, интерес Шубникова был не к собаке...

8

Пришлось искать Михаила Никифоровича. Дома его не оказалось, как не оказалось там и Любови Николаевны, что, впрочем, нельзя было считать удивительным. Следовало ехать в аптеку. Но в какую? В одной Михаил Никифорович работал, в другой прирабатывал, служебного расписания его я не знал. На всякий случай попробовал обнаружить Михаила Никифоровича в пределах Садового кольца.

Читателю, коему хватило терпения следить за ходом останкинских событий, понятно, могла прийти мысль о том, что все житейские интересы моих знакомых были связаны исключительно с пивным автоматом. Да еще и с пивным автоматом именно на улице Королева. Это не так. Все мы работали. Кто где. И в иных зданиях и сферах были наши сердечные дела, наши коренные заботы и интересы. В автомат же в будние дни мы заходили ненадолго, чаще всего заскакивали туда в вечерние часы, когда вот-вот должна была появиться над оконцем кассирши валтасарова надпись «Пива нет» и печально прозвучать прощальные звонки. В выходные дни наши удовольствия продолжались дольше, впрочем, об этом уже было сказано. Тем более что полагалось отдохнуть, прежде чем волочить сумки и рюкзаки домой. Я не оправдываюсь. (Хотя для жены, ведущей, между прочим, в некоем издании раздел «НОТ в доме», мог бы произнести эти слова и ради оправдания.) Но где нам еще можно было встретиться со знакомыми, давними и случайными, постоять просто так в шумной компании, ни о чем не думая или, напротив, именно думая о существенном? Где еще можно было дух перевести? Где дать душе отдохновение после суеты, страстей, бед, хлопот и радостей летящей жизни? Не за решением же шарад и плетением входящего в моду макраме! И не было у нас в Останкине никакого мужского клуба. Вот мы и переводили дух на Королева, пять.

А так мы трудились. Даже профессиональным и вечным посетителям автомата и тем приходилось время от времени оставлять кружки и плестись в бакалейные, овощные, хлебные магазины, таскать там мешки с луком, ящики с крупами и макаронами, болгарские коробки с томатными банками, к чему они были принуждены административными решениями комиссий по трудоустройству.

Я ехал к Михаилу Никифоровичу и думал: а что я ему скажу? О дяде Вале? О чем спрошу? И чем его так рассердила тогда Любовь Николаевна, что за знак он углядел в ней? Отчего остался непоколебим в своем упрямстве, как скальная порода? Кто знает, может быть, вернувшись тогда домой из аптеки, он взял да и выгнал Любовь Николаевну на мороз. Или на панель. Или вообще учинил над ней какое-либо зверское насилие, что-нибудь испортил в ней, отчего дядя Валя и не получил возможность двигать глазами мелкие предметы.

Ну да, скажет читатель, что же вы только теперь хватились? Что же на другой хотя бы день не осадили Михаила Никифоровича или просто не поинтересовались обстоятельствами жизни Любови Николаевны? Не поинтересовался... Вообще намерен был не думать ни о Любови Николаевне с ее трепетной, птичьей, чуть ли не лебединой шеей, ни о разбитой бутылке, месте ее прежнего, одинокого, но спокойного обитания, положив: ладно, это дело не мое, лучше быть от него подальше... Однако теперь грустная история дяди Вали изменила мои настроения...

Михаил Никифорович в своей аптеке сидел в рецептурном отделе.

Если бы вы видели Михаила Никифоровича лишь в Останкине и лишь в пивном автомате, то в аптеке вы могли бы его и не узнать. И дело было не в цеховом одеянии Михаила Никифоровича – белом халате и белой шапочке. Дело было прежде всего в совсем ином, нежели в останкинские досужие часы, состоянии Михаила Никифоровича. Кем он пребывал там и кем здесь? Здесь он был Верховный жрец. Или даже Демиург. Здесь от него зависело течение жизни в природе, в людском сообществе, в любой человеческой натуре, в любой живности, в любом зеленом побеге. Здесь и каждая звезда, особенно влияющая на эпидемии и поветрия,

была в его управлении, здесь каждая былинка, ядовитая и целительная, засушенная, попавшая в сборы трав или еще и вовсе не проросшая, вздрагивала при движениях его бровей и губ. Здесь Михаил Никифорович помнил о людских бедах и болях. Здесь он был целитель и колдун, здесь он был и хирург, и терапевт, и акушер, и хозяин сновидений, и знаток кровяных токов и давлений, и охранитель зеницы ока, и врачеватель душ.

Самые миловидные девушки – представим вдруг, и доброжелательные! – или же сонные, умученные собственным жизненным сроком дамы, хоть и провизоры по должности, чьи лица мы наблюдаем (порой и в раздражении) за аптечными стеклами, все же представляются нам подавательницами товара. Сунули мы им рецепт с чеком – и вон из очереди. Капли же с таблетками будто бы сами помогут от хворобы, если не подорвут печень. А присутствие в аптеке Михаила Никифоровича, мужчины в белом халате и белой шапочке, наводило на мысль о встрече с профессором. Тут уж явно не за товаром стояли, а ради консультации у нездешнего светила в надежде, что оно выслушает, поймет и спасет.

Подойти просто так к окошку Михаила Никифоровича я не мог. Старушки из очереди меня бы сразу урезонили. А если бы Михаил Никифорович мне ответил как знакомому, доверие к профессору могло быть поколеблено. Я встал последним, достал листок бумаги и в письменной форме попросил Михаила Никифоровича удостоить меня разговором. Способ общения был проверенный. Однажды Кочетков, тридцатилетний дизайнер из Останкина, натура лирическая, оказался поутру в центре города с подорванным здоровьем. Кочетков изобразил на бумаге как бы рецепт и латинскими буквами написал: «Миша! Добудь три рубля!» Выстоял очередь, протянул бумажку. Михаил Никифорович терпеливо и с достоинством изучил рецепт, встал, сказал: «Пойду посмотрю, есть ли у нас ваше лекарство». Вернулся с маленькой коробочкой. Кочетков почуял, что три рубля в ней есть, а Михаил Никифорович сказал ему с долей назидания: «Но принимать его все же советую вечером». Вот я и стоял. Очередь шла тихо, по логике нашей жизни многим пора было уже и осерчать, но нет, Михаила Никифоровича спрашивали, и он отвечал. По привычке – с паузами, вспоминал случаи из практики, а когда выдавал наружное, мазь Вишневского предположим, то и руками показывал, как и что надо делать. Мне он кивнул сдержанно, прочитал просьбу, подумал и сказал:

– Попробуйте зайти через два часа.

Что, у меня время, что ли, лишнее было! Лишнего не было, но свободное было. Я пошел на Покровку, посмотрел, как реставрируют палаты Сверчкова, а потом заглянул в Кривоколенный – не сломали ли там дети в забавах охранный забор у пустого нынче дома с подвалами семнадцатого века? Не сломали.

Через два часа Михаил Никифорович встретил меня у аптеки. Я был хмурый. Не на Михаила Никифоровича я хмурился, а на себя. Что я маюсь дурью, неужели мне не хватает своих забот? Но все же я рассказал Михаилу Никифоровичу о дяде Вале.

– Я знаю, – кивнул Михаил Никифорович. – Я у него был.

– Ну и что же ты? – спросил я с неким укором, будто бы Михаил Никифорович был в ответе за состояние дяди Вали.

– А что я... – пожал плечами Михаил Никифорович, но глаза при этом отвел в сторону. – Лекарств он не принимает...

– При чем тут лекарства? Ну ладно... А про Шубникова он тебе ничего не говорил? Зачем Шубников приходил к нему?

Михаил Никифорович не ответил. «Что я его пытаю? – подумал я. – Может быть, он и вправду доверил Шубникову попечение над Любовью Николаевной».

– А как Любовь Николаевна? – спросил я осторожно.

– Как, как! – сказал Михаил Никифорович. – Живет у меня!

– Значит, она осталась...

– Ну осталась, – сказал Михаил Никифорович без особой радости.

– И что же, она ничего не знает о дяде Вале?

Тут и Михаил Никифорович стал сумрачный. Закурил.

– Надоело мне все это, – сказал он.

Михаил Никифорович жаловался редко и теперь скорее не пожаловался, а просто пожурил судьбу. Из нескорох и будто бы ни к кому не обращенных слов его я узнал вот что. Живут они с Любовью Николаевной как разведенные судом супруги, вынужденные оставаться пока под одной крышей. Обращаются иногда друг к другу с холодными дипломатическими выражениями. Нецензурных слов, во всяком случае, Михаил Никифорович ни разу не употреблял. Поначалу, поняв, что к Шубникову ее не определяют, Любовь Николаевна запрыгала, чуть ли не приятельницей крутилась возле Михаила Никифоровича, вроде бы даже и глазки строила. Но он ее осадил. Любовь Николаевна замолкла, и Михаил Никифорович почувствовал, что она гордая.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.